

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

παράλιπομένον

Николай
Щеголев

Победное отчаянье



СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Николай Александрович Щеголев
А. А. Забияко

Владислав Александрович Резвый

Победное отчаянье.
Собрание сочинений

**Серия «Серебряный
век. Паралипоменон»**

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7317517

Победное отчаянье: Собрание сочинений / Сост. А.А. Забияко и В.А.

Резвого.: Водолей; Москва; 2014

ISBN 978-5-91763-193-6

Аннотация

Николай Александрович Щеголев (1910-1975) – один из наиболее ярких поэтов восточной ветви русской эмиграции первой волны, активный участник поэтических студий «Молодая Чураевка» (Харбин) и «Пятница» (Шанхай), талантливый критик. Щеголев не заботился о сохранении своего поэтического наследия, а по возвращении в 1947 г. в СССР и вовсе отошел от активной творческой деятельности. Настоящее издание с максимальной на сегодняшний день полнотой представляет

творчество Щеголева – стихотворения, прозу и статьи на литературные темы.

Содержание

Стихотворения	11
Харбин. 1930-1935	11
Жажда свободы	11
Стансы	12
В кинематографе	13
За временем!	15
Память видит	16
Правдивость	17
Там...	18
Диссонанс	19
Поровну	20
Гонг	23
Ровно в восемь	24
Покушавшемуся	25
За городом	26
Серебряные дни	27
Отупение	29
От самого страшного	29
Друзьям	30
«Устаю ненавидеть...»	31
«Вечер. Горизонт совсем стусеван...»	33
«Нас всё время наказывал Бог...»	34
Сон	35

Боги	36
Витринная кукла	38
Зима близка	38
«Всем мои стихи доступны, – всем ли?...»	39
Опыт	40
Лермонтов	41
«Люби меня всей чистотой...»	42
Муть	43
«Мне скучно...»	44
«От замыслов моих, не подкреплённых...»	45
«Слова, сорваться с уст готовые...»	46
Сирена	47
Осенняя улыбка	48
«Розовело небо, задыхался колокол...»	49
«Ты помогала мне в успехе...»	50
«На сердце пусто и мертво...»	50
«Я грею ледяную руку...»	51
Русский художник	52
Отказ	53
На балу	54
Маскарад	55
Хотелось бы	56
Почему?	58
Прекрасный мир	60
Отрочество	61
«Я сегодня от скуки далек...»	62

В раздумьи	62
Стихи о разлуке	63
Жизнь	65
Война и мир	66
Обновление	66
«Отряхни свою внешнюю скуку...»	68
Твердость	68
«Как мало светлых снов сбывалось!...»	70
«Да, я бесчувственен, негибок...»	71
«Ничего не пропадает даром...»	72
«Ничего у тебя не прошу...»	72
Живая муза	73
Два поезда	74
«Одно ужасное усилие...»	75
Музыка	76
Ничего	77
Шанхай. 1937-1946	79
«Я этого ждал...»	79
Встреча	81
Пианистка	83
В такие дни...	84
Как писать?	85
Родина	86
Город и годы	87
Шанхай – 1943	91
Разные люди	93

Карусель	95
Каменя	96
Светильник	97
Море	98
Химера	99
Пустыня	101
Ангелы	102
Феникс	103
Сквозь цветное стекло	104
Кошка	105
Достоевский	106
Россия	108
Дом	108
Зеркало	110
Поэт	112
«Я денно и ночью молился суровому богу...»	113
«Человек умрет. Его забудут...»	114
В первые дни после 9 мая 1945 года	115
Расстались!..	117
Свердловск. 1950-1974	119
Журналист	119
«Советскую мы делали газету...»	120
«Шел год грохочущий, сорок четвертый...»	121
«Пропахшая лекарствами больница...»	122
«И если я что смыслю в ленинизме...»	123

Герцен	123
«Разбросана, раздроблена жизнью...»	125
Ипохондрическое	126
«Настольной лампы матовая стылость...»	127
Всё заново!..	127
Эренбург	129
«Вот опять капли пота...»	130
«Как тебя я увидел во сне...»	131
У своего же огня	132
Недатированное	136
Заговор	136
Осеннее	137
«Стрясется же такое с человеком...»	138
Другу В.С.	140
Стансы к Августе	142
Стихотворение в прозе	145
Полдень	145
Проза	147
Рассказы	147
Телеграмма	147
Конец ознакомительного фрагмента.	153

Николай Александрович Щеголев

Победное отчаянье. Собрание сочинений



"Трио" Литературного кружка "Молодая
Чураевка. Н. Лапикен, Н. Щеголев и П. Ла-
пикен. 1930

Редакционная коллегия серии:

Р. Бёрд (США),

Н. А. Богомолов (Россия),

И. Е. Будницкий (Россия),

Е. В. Витковский (Россия, *председатель*),

С. Г. ардзонио (Италия),

Г. Г. Глинка (США),

Т. М. Горяева (Россия),

А. Гришин (США),

О. А. Лекманов (Россия),

В. П. Нечаев (Россия),

В. А. Резвый (Россия),

А. Л. Соболев (Россия),

Р. Д. Тименчик (Израиль),

Л. М. Турчинский (Россия),

А. Б. Устинов (США),

Л. С. Флейшман (США)

Издание подготовлено при поддержке гранта РГНФ 12-21-21001 а (м) «Русские и китайцы: межэтнические отношения на Дальнем Востоке в контексте политических процессов»

Составление *А.А. Забияко* и *В.А. Резвого*

Подготовка текста и примечания *В.А. Резвого*

Послесловие *А.А. Забияко*

Стихотворения

Харбин.1930-1935

Жажда свободы

Глаза глядят туда –
В далекие долины.
Слова готовы с уст
Сорваться навсегда.

Я пуст, как эта даль
За дымкой паутины,
И черен я, как туч
Текучая гряда.

Надвинулась весна.
Избитые мотивы
Подстерегают нас,
Как придорожный волк.

Зачем я – человек?
Души моей извивы
Пронизаны навек

Суровым словом: долг.

А даль – пестрей, пестрей, –
Пересыпает краски.
Озимая трава
На солнечном костре.

И хочется стереть
С лица печать опаски
И разом оборвать
Обязанностей сеть!

<1930>

Стансы

Радость... -
Я к ней не причастен.
Солнце. -
Я с ним не знаком.
Что для меня ваше счастье?
Что для меня ваш закон?

Вечно во власти решений,
Противоречий и ссор, -
Думаю стать совершенней,
Нежели был до сих пор.

То богатырь, то калека,
То филантроп, то Марат, -
Редко зову человека
Ласковым именем: брат.

Есть у меня «Меморандум», -
Книжка для памяти, – там
Я изнываю по Андам,
По поднебесным местам.

Дни надоели. Начать ли,
Кончить... не всё ли равно?
И, – повертев выключатель,
Падаешь спать, как бревно.

Всё обиходно. Косые
Спят на обоях лучи.
Разве лишь слово «Россия»
Мне необычно звучит.

<1930>

В кинематографе

Торчит экран, – живая книга.
Оркестру велено греметь.
Сижу. Всё спутано. Интрига
Плетет живую сеть.

Удар судьбы героя ранит.
Царят коварство и обман.
Вокруг меня и на экране -
Мистический туман.

И вдруг войдет, блестя глазами
Прозрачайшими, – Конрад Вейдт,
Встряхнет льняными волосами
Под переливы флейт.

И знаю, – не пройдет минуты, -
Артист забьется в пустоте,
Как беспорядочная груда
Из нервов и костей.

И, вновь опомнившись, заплачет,
И вновь кого-то позовет...
Над головой его прозрачен
Экранный небосвод.

Колонны слов, круги, зигзаги
Безумно мечущихся лент.
На развивающемся флаге
Горят слова: «The end».

<1930>

За временем!

Устал с утра давиться
Идущей в такт со временем
Слепой передовицей
Газеты. Жизнь, – согрей меня!

Не прихоть! – Еле-еле
Теперь справляюсь с ленью я
К концу моей недели...
Мутит (перечисление):

От улиц, от традиций
Кивков, от «дам с собачками»,
Спешащих возвратиться
На мой закат запачканный...

Бывают люди сталью,
А жизнь – магнитом ласковым
Для них. Глядишь, пристали
Проворными булавками.

Бывают люди медью,
Как я. И нет проворства в них!
И – медлят, медлят, медлят,
Чтобы потом наверстывать.

Но в этот ад – в погоню
Вольют, как бы нечаянно,
Последнюю агонию,
Победное отчаянье!

<1930>

Память видит

Память видит зеленый альбом...
В нем когда-то, как яркий новатор,
Расчеркнулся я словом «любовь», –
Запятая, тире, «скучновато!»

И под этот больной экивок
(Жизнь тогда мне ничем не сияла,
Я тогда не ценил никого)
Подмахнул я инициалы, –

Н.А.Щ. – Миллионы минут
От обиды альбомовладельца
Провертелись. И вновь я в плену
Насылающих скуку метелиц.

И – за ветром, пример взяв с него,
В каждом жесте лелея решимость,
Я бегу по настилам снегов,
Как на лыжах, шагами большими.

Точно тянут меня на ремне,
Точно манят обилием денег...
Но во мне – никаких перемен,
Никаких – перерождений.

<1930>

Правдивость

Родимая, начало всех начал!
Когда слепила солнце саранча,
Когда она врывалась с треском в двери,
Когда от подозрительности я,
Теряясь в недомеках бытия,
Уж никому не ждал души доверить;

Когда разуверялся и когда,
Не спрашивая у людей, гадал
О том, что им и ясно, и прозрачно, –
Тогда и сердце, даже пред тобой,
Притворствовало, празднуя отбой
Привязанности нашей полумрачной.

Напрасно оправдания вовне
Моей высокомерной болтовне
Отыскивала ты, еще не зная,
Что я, как все, во власти пустяков

И что по складу духа я таков,
Приснившийся тебе пришельцем рая.

Родимая, начало всех начал,
Прислушайся! Я коротко сказал:
Нет слов косноязычней и короче,
Чтоб выразить ту ясность на душе,
Подобную не блику на клише,
Но вольтовой дуге на фоне ночи.

Как звуки тамбурина и зурны
Для музыканта вдруг озарены,
Зажглись мои последние недели...
И, вероятно, в мире нет тоски
Сильней, чем счастье показать таким
Себя, каков ты есть, на самом деле.

Май 1930 Харбин

Там...

Влача за собою пояс,
Глотая с тоской дистанции,
Бежит пассажирский поезд,
Вопит у ближайшей станции.

Там запад, – залит кострами,
Как кровью, – почти логически

Беседует с пустырями,
Настроенными элегически.

Там вяз, растопылив руки,
Взяв позу актера-трагика,
Вихрясь в налетевшей муке, -
Мне душу порой затрагивал.

Там дали, рябя рисунками
Ландшафтов, одетых в олово,
Страдали. И стыла Сунгари,
Как плоскость ножа столового.

Июль 1930

Диссонанс

Спрятанный в клобук Савонарола
Близок мне с девизом: пост и труд...
А в соседней комнате – виетрола
И уют.

Чувствую, что с каждым часом чванней
Становлюсь, заверченный в тиски
Горестного самобичеванья
И тоски.

Но в припадке жесточайшем долга

В свой афористический блокнот
Что-то заносу, смотря подолгу
На окно.

К желтым костякам фортепиано
Прикасаюсь скованным туше,
Думаю бессвязно и беспланно
О душе.

Пусть соседи под виктролу скачут
Вечером, лишь вынет диск луна, —
Всё равно: ударю наудачу
Диссонанс.

Если же случайно выйдет нежный,
Тихий, грустью задрожавший звук —
Приглушу его своей мятежной
Парой рук.

1930 Харбин

Поровну

На десяток плохих есть десяток хороших.
На десяток больных — десять «кровь с молоком».
На десяток разутых — десяток в галошах.
На толпу в лакировках — толпа босиком.

Дисгармония, кризис – газетный, словесный...
Удручающий ряд! Кто поймет? Кто поймет,
Что и в наше столетье веселые песни
Половина людей, точно на́зло, поет

Кто поймет? Кто поймет, отчего, насмотревшись
На бессилье людское, иду я домой
Не с тоскою, как надо бы, не присмиревший,
А натянутый, точно струна, и прямой?

А когда мне прошепчут: «депрессия!.. кризис!...»
И понятий тождественных траурный ряд, –
Я сощурюсь слегка, к говорящим приблизясь,
И ехидно скажу: говорят, говорят!

Пусть вселенная спит под метелью, в пороше,
Пусть мучительный мир в бесконечность влеком, –
На десяток плохих есть десяток хороших,
На десяток разутых – десяток в галошах,
На десяток больных – десять «кровь с молоком»!

1930

Я близок к устью
Больших дорог...
Я с той же грустью,
Я столь же строг,
Я так же занят
Одним, одним –

Ловлю глазами
Белесый дым...

Туман и сырость
Три дня подряд...
Таким я вырос,
И – что ж! – я рад
Нести всё время,
Всю жизнь мою
Себя, как бремя,
В разлад со всеми
И даже с теми,
Кого люблю.

И – через много
Шумящих лет
Я столь же строго
Взгляну на свет, –
Да, он мне ближе!
Но – что скрывать? –
Ведь я увижу,
Что я опять
Всё так же занят
Одним – одним... –
Милльон терзаний...
Белесый дым...

Гонг

Стараюсь жить попроще, без утонков, –
Сплошная трезвость, здравый смысл во всем...
Вдруг – странный, тяжкий звук, как будто гонга
Удар!.. И всё меняется кругом.

Знакомый звук, как мир, больной и старый,
Пронзительный, надрывный и лихой...
Чайковский ждал такого же удара,
Бетховен, будучи уже глухой.

Толстой, насупленный, косматобровый,
В биении жизни звук тот различал,
И вздрагивал, и вслушивался снова,
И вышла «Смерть Ивана Ильича»...

У Чехова – «Вишневый сад»... У Блока
Расцвел над бездной «Соловыиный сад»...
Везде – куда ни глянь! – над одинокой
Душой мечи дамокловы висят...

И я, пигмей, живу и не горюю...
Вдруг грянет гонг, и станет жизнь тесна,
И хочется проклясть ее, пустую,
Проклясть ее и прыгнуть из окна.

До вечера влачится тупо время,
Живешь в каком-то гулком колесе,
Ругаешься и плачешься со всеми, —
Другой и все-таки такой, как все.

Как все, как все!.. Нет певческого дара.
Я — пустоцвет... Ну что ж! напыюсь тайком
И буду до надсады «Две гитары» —
Мотив давнишний, затхлый, стертый, старый,
Мне в уши занесенный ветерком,
Себе под нос мурлыкать тенорком...

1930

Ровно в восемь

Ровно в восемь меня ты встречала.
Я бежал и не мог продохнуть,
Наступая на цепи причалов,
Изъязвивших песчаную грудь.

Впрочем, «грудь» — устарело, избито
Для земли, для воды, для песка...
Я на прежних поэтов в обиде,
Что посмели они истаскать

Всё дотла, и всё выпить до края,
И беспечно мотать до меня

То, что ныне во мне закипает,
Улыбаясь, дразня и маня.

Но и хуже мы муки выносим, —
В зное лета и в вое зимы
Мне осталось одно: ровно в восемь, —
Точка в точку, — встречаемся мы.

А в дурную погоду заочно
Для тебя составляю я речь,
Где любовно приветствую точность
И рассчитанность времени встреч.

<1931>

Покушавшемуся

Неделя протекала хлопотно.
К субботе ты совсем раздрых.
Пришел к реке, нырнул и — хлоп о дно! —
Оставив пузыри и рябь.

Но на мостках матрос внимательный
Не потерял момента, и, —
Стругая гладь, спешит спасательный
Мотор, надежду затаив.

Прыжок. И вынут утопающий —

Свободе личности назло.
Ах, вымокшая шантрапа! Еще
Печалится: не повезло.

Беда! становишься ехидою,
Беседуя с тобой. Ты – тот,
Кто жизнь считает панихидою,
Тогда как жизнь – переворот.

Тогда как жизнь – великий заговор
Громов и ловля на лету
Клинков, взлетающих зигзагово
В нетронутую темноту.

<1931>

За городом

Лихие цирковые Арабеллы,
Театры, мостовые мне нужны...
Полмесяца живу как оробелый, –
Не сладить с новизною тишины.

Открыты окна. Легкие удары
Калиткою. А в воздухе сквозят
Шесты шаланд, сверканье самоваров
И бочек, за которые – нельзя...

И надо мной поблескивают щели
На потолке; и небо надо мной;
И – если дождь, то летние капли
Обрызгивают музыкой земной.

Лиризм растет... Но перееду в город,
Обогадив словарь своих стихов, –
И снова стану петь, что я расколот
И устаю от всяких пустяков.

Как девочка, душа наденет капор...
Но будет верить в свежесть ветерка
И будет ждать, чтоб чудом дождь закапал
С непроницаемого потолка.

<1931>

Серебряные дни

Летом – мрачная закабаленность
И девиз: «от всего отрешись!»
А зимой, как ни странно, – влюбленность
И в тебя, и в работу, и в жизнь.

Дни серебряные, словно просесть.
Век писал бы, но твой бубикопф,
В сочетаньи с улыбкою, просит
Прекратить сочиненье стихов.

Над душой моей сложной и хрупкой
Ты смеешься чуть-чуть, – почему
И зову я тебя «острозубкой»
И не сразу, не сразу пойму.

Но у родственников – вечеринка,
Где – веселье: ты в самый разгар
Нарисуешь «поэта на ринге», –
Так, для смеха вертящихся пар.

И, следя за пунктиром рисунка,
Очаруюсь тобою я сам.
Я – мальчишка, держащийся в струнку,
Как бы наперекор небесам.

А когда под влияньем момента
Все хохочут, виктролу скрутив,
Ты велишь мне идти к инструменту
И сыграть наимодный мотив.

И в биении нерусского вальса,
Сонни-бой и танго «Аргентин»
Ты вселяешься вся в мои пальцы
Над просторами клавишных льдин!

<1931>

Отупение

Слов уж не было...

Я

Поникал,

Как под градом доносов,

И в пространство

Ронял, –

Клеветнической тучей гоним, –

Так тягуче слова,

Что казалось, –

На в у х о д о н о с о р

Слишком краткое слово

В сравнении

С каждым

Моим.

<1931>

От самого страшного

Я стою у забора. Сквозь воздух вечерний

Долетает из дальнего сада симфония,

Вероятно, продукт математики Черни,

Виртуозности Листа, – Сальери агония.

И какие созвучия! Чем обогреешь
Их полет? Прикасаясь к ушам, холодят они
До мурашек, до дрожи. И тянет скорее
В освещенную комнату. Там благодатнее.

Там и легче. А утром, когда, обозленный,
Выбегаешь и щуришься, сутки прободрствовав, –
Воспаленные веки на вязах зеленых
Отдыхают от самого страшного, черствого.

<1931>

Друзьям

Для них, нелепо запоздавших,
Создавших смуту вокруг меня,
Я нахожу слова постарше,
Чем те, которыми звенят,

Чем те, которыми пророчат,
Чем те, которыми клеймят,
Чем даже те, что счастье прочат
И затуманивают взгляд.

Друзья, вонзившиеся в сутки,
Как нить закатного луча, –
Они живут в моем рассудке
Разоблачителями чар.

И, растворяясь в их советах
Так, как в стакане – сулема,
От бьющихся в окошке веток,
От ветра – я схожу с ума!

Чтоб стать впоследствии к ним ближе,
Чем в эти снеговые дни,
Я обнимаю груды книжек,
Которые прочли они; –

Чтоб им, которые мutilи
Во мне спокойствия струю,
Излить в незыблемом мотиве
Колеблемую жизнь мою!

<1931>

«Устаю ненавидеть...»

Устаю ненавидеть.
Тихо хожу по проспектам.
«Некто в сером» меня
В чьи-то тяжкие веки влюбил.
Устаю говорить.
Пресловутый и призрачный «некто» –
Надо мной и во мне,
И рога – наподобие вил.

Впрочем, это гротеск.

«Некто» выглядит благообразней, –

Только рот как-то странно растянут

При сжатых губах:

Таковы и лица людей в торжественный праздник,

Если отдыха нет, –

Борьба,

Борьба,

Борьба!

Я себе говорю:

Мы сумеем еще побороться,

А пока

Стану петь,

Стану сетовать,

Стихослагать!

И пишу,

И пою,

И горюю, –

Откуда берется

Лихорадочность музыки,

Бьющейся в берега?

Непонятно!

Ведь я потерял беспорядочность мнений.

Я увесист, как полностью собранный

Рокамболь.

Я лиризм превозмог.

Но достаточно книжных сравнений,
Как прочитанное
Обернется в знакомую боль.

Через двадцать пять лет
Ты увидишь, что мир одинаков,
Как всегда,
И что «некуда больше (как в песне) спешить».
И, вздохнув, захлебнешься
В обилии букв и знаков,
Нот, и шахматных цифр,
И запутанных шифров души.

1931

«Вечер. Горизонт совсем стушеван...»

Вечер. Горизонт совсем стушеван.
Печь, диван, присутствие кота.
Ручкой тонкою и камышовой
Я пишу на длинных лоскутах.

Ветерок колеблет занавеску,
Занавеска к абажуру льнет.
Точно Гоголь, я в турецкой феске, –
Остролиц и холоден, как лед.

Музыка несется ниоткуда

В форточку и в уши – напролом.
Обожаю внешние причуды
И, в особенности, за столом.

Я пишу. В окне горит веранда.
Перетряхиваю ритмы дня.
За стеною спорят квартиранты
Не о том, что трогает меня.

Вот сегодня я листал Толстого,
Кажется, четырнадцатый том –
Педагогики его основа, –
И всё время думал: *не о том*!

Думал до надсады долго, много,
Щуря уголки зеленых глаз,
Только к вечеру моя тревога
Тяжко в эти строки улеглась.

Но отчаянье, как Лорелея,
Всё поет, и падаю в прибой, –
Я, казненный, как поэт Рылеев,
Только не другими, а собой!

1931

«Нас всё время наказывал Бог...»

Нас всё время наказывал Бог.
Мы умели хотеть, мы боролись,
Мы не ждали, чтоб кто-то помог,
Шли мы к северу, прямо на полюс, -

А потомок прочтет свысока,
Как мы шли сквозь поля ледяные -
То без Бога, то без языка,
То без солнца – в огромной России!

1931

Сон

Мы с другом идем перелесицей,
Неясных предчувствий полны...
Над нами колеблются месяцы,
Но нет ни единой луны.

Растут только вязы да тополи,
Наверно, по тысяче лет...
Вон – дети оравой протопали:
Всё мальчики, – девочек нет.

Учительниц нет, – есть наставники,
Нет рек, – есть глухие пруды,
Слоняются фавны да фавники
У горькой зеленой воды.

И в этом проклятом становище,
В заброшенном замке, в пыли
Сидит и владычит чудовище,
К которому нас привели.

Квадратное, злое, безмолвное, —
Оно ощерилось на нас,
И брызжут зеленые молнии
Из маслом подернутых глаз.

И замок, зубцами увенчанный,
Тосклив, неуютен и мшист, -
Не тронутый веяньем женщины,
Без слез, без тепла, без души.

1931

Боги

Предвечерние рвы на дороге.
Разговор воронья в вышине...
Отовсюду, мне кажется, боги
Подступают, враждебные мне.

Вот сутулый ивняк-длиннолистник
Невидимка-рука потрясла...
Ах, опять ветерок-ненавистник

В душу робкую вносит разлад.

Занимается ль день над рекою,
Он от туч и от ветра рябой...
Мы простились: ты машешь рукою, –
Нет, не ты – бог разлуки с тобой...

Не исчислить вас, темные боги,
Боги будней и тяжких дорог!..
А бессонницы бог и тревоги?
А нужды? А изгнания бог?

А домашняя грусть у окошка,
Грусть твоя – что еще тяжелей?..
И ползущая сороконожка,
И сквозной ветерок из дверей...

Но в вихрастые дни вдохновенья,
Когда всё мне пустяк и тщета,
Я сплетаю богов, точно звенья,
И мечтаю, сплетя, сосчитать.

Вот сегодня как будто бы дожил
И готов их собрать на копье.
Но вгрызается грусть многобожья
В терпеливое сердце мое!..

Витринная кукла

Мне грезится фигурка неживая,
Слегка отставившая локоть круглый, –
Задрапированная восковая
Модель витринная, больная кукла.

Случайно вы попали в поле зренья...
Я шурился, разглядывая пачки
Шелков, носков с божественным презреньем, -
Душа была в потусторонней спячке.
Фигурка, вы – последняя влюбленность.

Пусть нездорово, но, по крайней мере,
Не тронет вас моя испепеленность.
А звать вас буду Ирмой или Мэри.

И жизнь пойдет прекрасно и правдиво
В прекрасном шелковом раю витрины,
Где вы теперь стоите горделиво, -
Осуществление мечты старинной.

<1932>

Зима близка

Всё прозрачней воздух,
Всё острее слеза,
Всё синее звезды,
Всё слепей глаза.

И дымятся трубы,
И бурлит река, -
Холоднее губы,
Холодней тоска...

И зима близка!

<1932>

«Всем мои стихи доступны, – всем ли?..»

Всем мои стихи доступны, – всем ли?
Да, конечно! Точно снег они,
Падающий хлопьями на землю
В пасмурные мартовские дни.

Всякий вправе подставлять лицо им,
Обелиться с головы до пят
Их мохнатым карусельным роем,
Но – беда! – не все того хотят.

По частицам расточаю дар свой,
Жду, терплю, – на худшее готов.

Но никто мне не прошепчет: «царствуй!»
И руки мне не подаст никто.

Это выглядит мрачней могилы,
Это гибнет человек живьем...
Но какая дьявольская сила
В нынешнем отчаянье моем!

<1932>

Опыт

Одиночество, – да! – одиночество злее марксизма.
Накопляешь безвыходность: родины нет, нет любви.
Содрогаешься часто, на рифмы кладешь пароксизмы,
Бродишь взором молящим среди облаковых лавин.

– «Не от мира сего...» И горят синема, рестораны,
Ходят женщины, будят сознание, что ты одинок
На земле, где сльвешь чудаком захудалым и странным,
Эмигрантом до мозга костей, с головы и до ног.

Эмиграция, – да! – прозябанье в кругу иностранцев,
Это та же тоска, это значит – учить про запас
Все ремёсла, языки, машинопись, музыку, танцы,
Получая гроши, получая презренье подчас.

Но ты гордый, ты русский, ты проклял сомненья и

ропот, —

Что с того, что сознание трезвое спит иногда? —

Но себя ты хранишь, но встречаешь мучительный опыт

Не всегда просветленно, но с мужественностью всегда!

19. VII. 1932

Лермонтов

В этом мире, мире ненастья,
Мире мертвых нудных людей,
Жгут меня холодные страсти, —
Я дрожу от этих страстей.

Дни идут, оскалась как волки, —
Дни разврата и дни труда,
И холодным и лунным шелком
Отливает ночью вода...

В этом мире мне счастья нету,
Всё — лишь сказка, перечень снов
Одинокой черной планеты
У преддверья многих миров.

И от этой холодной сказки,
От ненужных женских ласк
В неудобной тряской коляске
Отправляюсь я на Кавказ,

И гуляю там, нелюдимый,
Поджидая скорую смерть...
Пятигорск... Золотые дымы...
Взгляд последний, кинутый в твердь.

1932

«Люби меня всей чистотой...»

Люби меня всей чистотой,
Которой я стыжусь,
Люби меня любовью той,
Которой я боюсь.

Люби меня, люби меня,
Все силы собери –
Во мраке ночи, в свете дня
И розовой зари.

Настанет миг, ты подойдешь,
Мучительно любя...
О, ты тогда меня найдешь,
А я найду себя.

Я новым ликом обернусь
И, став самим собой,
Свободно солнцу улыбнусь,

Что встанет надо мной.

Так, вгрызшись в землю глубоко,
Из материнских недр
Сосет ребенок молоко,
Растет высокий кедр.

А обессиленная мать —
Иссохшая земля
Печально будет умирать,
Ребенка утоля...

И ты, оставленная мной
Навеки, навсегда,
Утратишь свет последний свой
И канешь, как звезда,

Во мрак, что безответно нем,
В ночь, чуждую тепла, —
И лишь тогда пойму я, чем
Ты для меня была.

1932

Муть

Дни весенние. Синий
И безоблачный свод...

Скоро ветер с пустыни
Желтизну нанесет.
Солнце сядет... И некий
Современник, мой друг,
Вскинет тяжкие веки,
Затуманится вдруг,
И пропьянствует ночью
У распутства в гостях,
И под утро воочью
Узрит дьявольский стяг...
Но волною тяжелой
Захлестнет горизонт,
Зазвучит невеселый
Колокольный трезвон,
Всхлипнет нынешний Гамлет,
Рухнет времени связь...
Вот он мечется, мямлит,
Поминутно крестясь.
И так сладко, так свято
Покаянье в конце
Со следами разврата
На упрямом лице.

1932

«Мне скучно...»

Мне скучно... Будильник

Стучит монотонно.
Покой мой бессильный,
Покой мой бессонный!
Но вдруг, будто пенье
В костеле органа,
Нахлынет волнение,
И плакать я стану,
Что мысли приходят
И мрут без свободы,
Что *годы проходят*, —
Все лучшие годы.
Что ласточки выются,
Крылами звеня,
Что люди смеются
И травят меня
То ночью бездомной,
То дома и днем, —
А Лермонтов темный
Поет о *своем*!

1932-1933

«От замыслов моих, не подкрепленных...»

От замыслов моих, не подкрепленных
Ни силою, ни верой, ни трудом,

От слов моих всегда полувлюбленных,
Полупрохладных, как забытый дом,
От вечно спутанных и сыроватых
Туч, копошащихся над головой,
И даже от просветов синеватых...
От всей земли, скользящей по кривой,
Бежать, бежать, бежать... – в какое царство?

О ложь!.. О бесполезное бунтарство!

<1933>

«Слова, сорваться с уст готовые...»

Слова, сорваться с уст готовые
Недели, месяцы, года;
Ошибки старые и новые,
Непоправимые всегда.
И лес из дымных труб над городом,
И круг луны над головой,
И я – с несвойственным мне холодом –
Какой-то странный, сам не свой,
Изогнутыми переулками,
Шагами тяжкими и гулками,
Вступаю в городскую ночь
Асфальты черные толочь.

<1933>

Сирена

Сидит – поджатые колена,
Большие лунные глаза, –
Оцепенелая сирена,
Как затаенная гроза...

Как много, как ужасно много
Людей – в былом, теперь – калек
Толчется у ее порога!
Один красивый человек

Теперь в нее влюблен. Печально
Он с ней до сумерек сидит.
Она не гонит, но глядит
С холодностью необычайной...

А по ночам – она – сирена –
Она – сирена – по ночам
Крадется в парк: дрожат колена,
И косы быются по плечам,
Как перегрызенные цепи...
Стоят беседки. Месяц строг.
И – ждущий *фавн* табачный пепел
С козлиных стряхивает ног.

Осенняя улыбка

Ноябрьский, прозрачный, кидаемый ветром в стекло,
На серые зданья слетает снежок неумный.
Последние листья с деревьев еще не смело,
Над серой землею склоняется купол огромный.

Немного белей, но не ярче... лишь тусклых тонов
Мельканье, да красок – лишь выцветших – чередованье,
Скелеты деревьев качаются, ветер готов
Снести мою крышу, – я слышу его завыванье.

Там настланы мертвые листья в пустынном саду, –
Порывами ветра на землю безжалостно сбиты...
Мы плохо расстались. Теперь я к тебе не приду,
И ты задохнешься от гордости и от обиды.

А завтра, при встрече, случайной, как свет или тьма,
Как солнце, как звезды, как месяц, как всё во
вселенной, –
Лучи желтоватого солнца сойдут на дома,
Ты мне улыбнешься улыбкою слабой и брэнной.

Но в этой улыбке, как в странной заморской стране,
Какие-то птицы поют и цветы зацветают,
И солнце не меркнет, и часто мерещится мне,
Что в ней всё, что было, что есть и что будет, – растает.

<1933>

«Розовело небо, задыхался колокол...»

Розовело небо, задыхался колокол,
Искры разлетались.
Мокрый падал снег и стлался, стлался пологом,
И глаза слипались.

Старичок скользил, покашливал и шурился,
Переносье сморщив.
Яркие рекламы плавали над улицей,
До костей промерзшей.

Улыбались люди и друг друга под руку
Брали, кляли стужу.
Мчался сбор пожарных. Старичок шел бодренько,
Хоть и был простужен.

Но не грипп свалил его – цистерной медною
В перекрестке сбили.
И опять помчались с ветром люди бледные
В рев автомобилей.

И опять на сердце знак багровый чертится,
И опять я занят
Мыслями о смерти, о своем бессмертьице

И – самотерзаньем.

<1933>

«Ты помогала мне в успехе...»

Ты помогала мне в успехе
На утомительной земле,
Ты создала мои доспехи,
Ты сделала меня смелей,
Неуязвимей и злорадней...
И всё, что мне тобой дано,
Я взял, но твой покой украден,
Я не люблю тебя давно.
В твоих ресницах звезды виснут,
Ты часто плачешь и не спишь...
А я, в квадрат кирпичный втиснут, -
Я снова выпитываю тишь!

1933

«На сердце пусто и мертво...»

На сердце пусто и мертво:
Напрасно притворяюсь кротким...

Властительнейший профиль твой,

Веселую твою походку,
Твоих движений злую власть,
Уверенность твою в победах
Как часто я готов проклясть!..

А под конец, а напоследок,
Поднявши воротник пальто,
Поглядывая одичало,
Проклясть проспект с его авто,
Уйти в пустынные кварталы.

1933

«Я грею ледяную руку...»

Я грею ледяную руку
У сердца, бьющегося громко, —
Я тщательно скрываю муку...

Но вот подходит незнакомка
И спрашивает, вздернув плечи:
«Зачем вы злой и непонятный?»
И что я, что я ей отвечу, —
В себя ушедший безвозвратно?

1933

Русский художник

Кидающий небрежно красок сгустки
На полотно, укрепленное в мольберт,
Художник я и, несомненно, русский,
Но не лишенный иностранных черт.

Люблю рассвет холодный и линиялый –
Нежнейших красок ласковый разлад.
Мечта о власти и меня пленяла,
Меня пленяла и меня трясла.

На всякий звук теперь кричу я: – занят.
Но этим жизнь исчерпана не вся.
Вокруг враги галдят и партизанят,
Царапины нередко нанося.

Мне кажется, что я на возвышеньи.
Вот почему и самый дух мне люб
Французской плавности телодвижений,
Англо-немецкой тонкой складки губ.

Но иногда я погружен по плечи
В тоску и внутреннюю водоверть.
И эту суть во мне не онемечит,
Не офранцузит никакая смерть.

1933

Отказ

Попытки зачернить твою
Прозрачную живую душу
Я проклиная, я стою –
Весь окровавленный, потухший,

Оставленный на самом дне
Пустого черного колодца.
Расколотое сердце мне
Пощады не дает, всё бьется.

Вчера в последний раз во тьму
Ты сверху протянула руку,
Я стиснул зубы: не приму.
Я вновь обрек себя на муку -

О камни биться, говорить
Кошунства, задыхаться дымом
И смрадом дна, и снова жить
Нелюбящим и нелюбимым.

1933

На балу

Вот девичье тело
(Мне душу любить дано), –
И всё взлетело,
Всё временно сметено,

Ты ждешь, не глядя, –
Как жжется твоя ладонь!..
В моем же взгляде –
Жестокий желтый огонь.

Мы едем вместе
Холодной ночью на бал.
Тебе, как невесте,
Я с твердостью руку дал

В подъезде... Недаром
Тяжелый мой жаден взгляд.
Два толстых швейцара
У вешалок, стоя, спят.

И странное чувство
Мне душу объемлет вновь, –
Мне жаль, мне грустно,
Что и это моя любовь,

Что это не только
Небесный ангельский свет,
Но – пусть мне больно! –
Иного выхода нет.

О, милое тело,
Простит ли твоя душа
Мне темное дело!?
Прерывно, злобно дыша,

Над нею в танце
Ползучем склоняюсь я:
– Моя, моя, несмотря ни на что, – моя!

1933

Маскарад

Однажды средь ночи привиделся мне маскарад.
Он с жизнью моею был плотно, как карты, стасован...
Какая-то комната. Люди все враз говорят.
А в комнате тесно. А двери в латунных засовах.

В очках а ля Ибсен возник предо мною старик.
Надулись – вот лопнут от смеха – патлатые щеки...
И все засмеялись. И смех этот вылился в крик.
Гремели ладони и дробно трещали трещотки.

В железном оконце всплывала большая луна –
Бессмысленный лик, рябоватый, больной, бледно-
желтый.

И все неестественно пели: «как весело нам»,
А я им кричал обличительно: – лжете вы, лжете!

Тут всё завертелось... И кто-то ударил меня
Большой колбасой из узорной и вздутой резины.
И кто-то грозил мне. И кто-то меня догонял, –
Запомнились злобные глазки и лоб шимпанзиный...

Всё было как в жизни... Не верилось, право, что сплю...
Всем вдруг захотелось казаться умней и красивей...
Один бормотал: «я с пеленок искусство люблю...»
Другой тараторил: «структура грядущей России...»

И мне показалось – я сам лицемерю и лгу,
Когда я прижался к стене и с лицом неподкупным
Сказал: «о, какое проклятье быть в вашем кругу...
– Россия ж как боль мне близка, но как даль недоступна!»

1933

Хотелось бы

Хотелось бы вырвать из памяти
Страницу нелепейших встреч
С тобой в январе, когда замети

Захлебывавшаяся речь
Мешала нам мирно беседовать...
И мы до озноба вдвоем
Стояли у дома соседова –
Не в силах унять водоем
Сомнений, намерений, вымыслов,
Не складывавшихся в слова...
Всё это прошло, и не вынесла
Теперь бы моя голова
И той несуразицы выводов,
К которым, бывало, тебя,
Твою точку зрения выведав,
Я вел, неустанно дробя
Ее на частицы – анализом! –
И классифицировал их,
Как рыб... За логичностью гнались мы,
За нами же следовал вихрь
Зигзагообразною линией
И нас и соседей фасад
Опутывал в сумерки синие,
Чтоб мы не вернулись назад
К красе человеческой личности,
Которую просто трясет
От этого гнета логичности,
От этих холодных красот.

Почему?

Солнышко искоса светит...
А я всё шагаю в дожди,
В сумрак, в осенний ветер...
Что
у меня
впереди?

И кто я сам? Неужели
Вестник и спутник мглы,
Любящий свои подземелья,
Закоулки, глухие углы?

И почему так упорно
Рвусь я всегда во тьму
С солнечной тропы – торной?..
Спрашивается – почему?

Потому что лабиринты и глубины
И то, что на самом дне, –
Любит, любит, любит
Жизнь, что с солнцем в родне!

Другим она – незнакомка,
А меня непременно вдогонку
Подбодрит – не очень громко,

Но звонко, звонко!
– «Постой, подожди!
Пройдут дожди...
Всё
еще
впереди!»

Солнце! Я, может быть, болен,
И ты – мой давнишний враг?..
Спрашивается: чем я доволен,
Падая, как в омут, во мрак?..

Может быть, я – проклятый
Трус или малOVER?
Может быть, я – глашатай
Смерти? Ее курьер?..

Неправда! Родное, земное,
Глубинное я люблю...
Следуй же, солнце, за мною
В мутную мглу мою,

В лабиринты и глуби,
Где не бывает дня!..
И чувствую: жизнь любит,
Безмерно любит меня, –
А она ведь солнцу родня!..

Другим она – незнакомка,

А мне обычно вдогонку
Летит ее голос (негромко,
Но звонко, звонко):
– «Постой, подожди...
Пройдут дожди.
Всё
еще
впереди!»

1933

Прекрасный мир

Я вхож в прекрасный мир, мир комнаты твоей.
Он осветляет мир сомнений и страстей,
В котором я порой стучусь в ворота ада,
Кошунственно крича: «мне ничего не надо!»
Все нужные слова цветут в твоей груди,
Ты мне не говоришь: «побудь, не уходи!» –
Но держишь у себя необъяснимой силой
Без ветхих слов любви, без восклицанья: «милый!»
И этой тишины, и радостей простых –
Не передашь и ты, александрийский стих!

<1934>

Отрочество

Дни, сотканные из тумана,
Вновь начинают возникать...
Недавно больно, нынче странно
Мне отрочество вспоминать.
Прекрасная пора... Готовность
Растаять в солнечных лучах,
Застенчивость во всем, неровность,
Непостоянство в мелочах,
Нетронутая свежесть, детскость
Высказываний в дневнике,
Кокетство девочки соседской,
Колечко на ее руке,
Ее очки – «очкастый ангел!» –
Размолвка, мой приход домой,
Гимнастика, подтянуть штанги
Над беспокойной головой...
А нынче – призрак олимпийства,
Приобретенного в тиши...
Незримое самоубийство
Незрелой маленькой души!

«Я сегодня от скуки далек...»

Я сегодня от скуки далек,
Как далек от безумья и страсти,
Потому что мне брезжит намек
На какое-то близкое счастье.

Как на елочной ветке звезда,
Жизнь сегодня сияет, трепещет,
Будто ты мне ответила: «да»! –
И по-новому зажили вещи,

И как будто я ровно дышу,
Улыбаюсь светло, непритворно,
Всё люблю и в дневник заношу
Золотые страницы среди черных.

<1934>

В раздумьи

Что я? – Калика перехожий, –
Смирился внешне и притих...
Жизнь смотрит искривленной рожей
На гордость замыслов моих,
И с горечью я понимаю,

Что я не всё осуществляю, —
Но так безумно я мечтаю,
С такою верностью люблю,
Что даже и в часы лихие,
В болезни, в гнете и тоске,
Всё мнится мне, что я в России,
А не в маньчжурском городке...
И в самом деле, в самом деле, —
Иль не со мной моя тоска,
И покаянные недели,
И трепет сердца у виска, —
Вся русская моя природа,
Полузадушенная мной?..
И как я рад, когда порой
Веду себя как иностранец, —
Холодный бритт, упрямый немец, —
Как горд!..
Кровь моего народа
Во мне сияет новизной!

<1934>

Стихи о разлуке

1

Милая, такая понятная
И таинственная вместе с тем, —
Ужасно! — но самое вероятное,

Что мы разойдемся совсем...
Вспыхнем, друг на друга обидимся,
И друг друга никогда не простим,
И больше никогда не увидимся,
И в сонную ночь отлетим,
И глазами мертвыми, мутными
Станем на мир смотреть
И плестись ногами беспутными...
Хоть бы скорей умереть!

2

Надо мною летают вороны,
Голубеет стареющий день,
И несутся с вокзальных перронов
Вопли поезда, всхлипы людей;
Расстаются – по-волчьи сурово,
В отдалении друг друга любить...
О, проклятье! Всё это не ново, –
Я об этом устал говорить.

3

Ночь с пеньем птиц, с собачьим лаем,
Вокзал, пронзительность свистка,
Разлуку, – всё мы принимаем, –
Два разлетевшихся листка,
Как будто вечно наготове
По разным разойтись углам...
Иль клейковины нашей крови
Так глупо не хватает нам?

Неправда: на себя клеветцем, —
Прочна связующая нить!
Но это жизнь, смеясь зловеще,
Всё хочет нас разъединить.

<1934>

Жизнь

Жизнь... Сиянье бальной залы,
Стуки каблуками,
Беловатые провалы
Между облаками,
Холодеющее сердце
Под крахмальной тканью,
Золотеющего солнца
Поступь великанья,
Взор развратника насытый,
Гири, дымы ночи...

Небо — дождевое сито —
Разрыдаться хочет,
Хочет выть бессильно ветер,
И ребенок плачет
Всё о том, что всё на свете
Ничего не значит.

<1934>

Война и мир

Снова – эти книжки в серых корках
О войне и мире давних лет...
Но от строк веселых привкус горький,
В солнечных страницах света нет.

Из-за шума этих строк веселых,
Строк большой победы, – как во сне,
Слышен горький, властный, страстный голос,
Голос самого Толстого мне:

– Делай что велят судьба и случай
Твоему слепому кораблю.
Я не приношу пустых созвучий,
Хоть и счастья мало я сулю.

<1934>

Обновление

Я думал, что только влюблен,
Что надо с тобою бороться.
Мой ангел! Я страшно умен
Умом чудака и уродца.

Виски набухали от дум,
Мне чудился звон панихидный.
И – вправду – скончался мой ум,
Морщинистый карлик ехидный.

Он трясся, пощады моля,
Топорщился злобно, упорно,
Но тяжко прижала земля,
Прикрыла пробившимся дерном.

Я вздрогнул: «как быть без него?»
И смутные страхи возникли,
Но в свете лица твоего
Глаза к этой жизни привыкли,

И видят, и видят они
За днями унынья и тленья
Тягчайшие, трудные дни,
Прекрасные дни обновления...

Дождь сеется: небо мертво,
И солнце на нем не смеется...
Мой ангел, я новый, я твой, –
А даром ничто не дается.

<1934>

«Отряхни свою внешнюю скуку...»

Отряхни свою внешнюю скуку, –
Пусть заблещут глаза новизной.
Протяни свою теплую руку
Без смущенья при встрече со мной.

Год назад неживое, как камень,
Сердце жжется, и чудом труда,
Чудом творчества сотканный пламень
Не угаснет теперь никогда.

Наши общие крылья во вьюгу
Никогда не повиснут, как плеть,
Наши души навстречу друг другу
Никогда не устанут лететь.

И, смеясь над боязнью былою,
Синим воздухом страстно дыша,
Знай, что пыльной маньчжурской весной
Иногда воскресает душа.

<1934>

Твердость

Солнце светит, мелькают года,
Что-то вечно, и что-то проходит...
Я люблю помечтать иногда,
Что ко мне вдруг богатство приходит.

Я женюсь, успокоюсь; жена
Даст мне мягкость; душа усмирится...
Ах, как нынче страдает она,
И как часто ей счастье снится!

Но – мне страшно подумать! – придет
Всё, – уверенность, счастье, богатство,
Но не будет ли это как гнет
Над душою моею колыхаться?

И не будут ли дни сожжены
И печальны, как дни листопада?..
Нет, не надо покорной жены,
Тишины и богатства не надо!

Пусть я каменнолицый и злой,
Холостой, преждевременный старец...
Неподвижность, застылость, застой, –
Я на счастье такое не зарюсь!

<1934>

«Как мало светлых снов сбывалось!..»

Как мало светлых снов сбывалось!

А ты светла, и ты сбылась...

Где ты была? Где ты скрывалась?

С какой зарей ты занялась?

Где б я ни находился, где бы

Теперь ни пресмыкался я, —

И это выцветшее небо,

И эта стылая земля,

И эти заспанные звезды,

И ветер, стонущий в ветвях,

И мерзлые вороны гнезда

На облетевших тополях,

Все знаки смерти и напасти,

Всё, что так ненавистно мне, —

Всё хочет обернуться счастьем,

Недавно виденным во сне...

Твое лицо я вижу рядом, —

Свет от него, свет от него! —

Обманываюсь близким взглядом

И стуком сердца твоего...

И – что ж! – пусть тот обман минутен,
Пусть он исчезнет без следа, –
Прекрасен мир, прекрасны люди,
Не меркнувшие никогда.

1934

«Да, я бесчувственен, негибок...»

Да, я бесчувственен, негибок.
Я всё рассудком стерегу
И руку – холоднее рыбы –
Даю и другу и врагу.

И только для тебя – углами
Сегодня чуть смягченных глаз
Я тихо источаю пламя,
Оставленное про запас...

А завтра... Завтра всё мертво.
По-прежнему тебя не знаю...
Не понимаю ничего
И ничего не принимаю!

1934

«Ничего не пропадает даром...»

Ничего не пропадает даром...
Даже еле тлеющий огонь
Может стать со временем пожаром,
Выжигающим тоску и сонь...

Пусть любовь сегодня оскудела,
Пусть сегодня день полупомерк, —
Продолжай свое ты делать дело,
Волею одной, упрямым телом
Подготавливая фейерверк,

Подсыпая порох там, где надо,
В тайники оружие кладя,
Пряча за таинственной оградой
Будущую бурю, канонады
Огненного хлесткого дождя...

Ничего не пропадает даром!

1934

«Ничего у тебя не прошу...»

Ничего у тебя не прошу.

Ты – далёко. Я чист пред тобою.
Я читаю и что-то пишу
И всё время гляжусь в голубое

Озаренное небо. Дымок
Восстает над соседнею крышей.
Мне не скучно. Но, если б я мог
Твой приветливый голос услышать, –

Разлился бы в груди моей хмель,
На глаза навернулись бы слезы...
Я б за тридевять прыгнул земель,
Я бы грянул бегом по морозу.

<1935>

Живая муза

Есть что-то сладкое в небытии,
Есть что-то притягательное в смерти,
Но эти узкие глаза твои
Такие светлые зигзаги чертят,
Что, кажется, не только умирать,
Но даже, даже вспоминать об этом
Грешно. Пусть клонит в сон – не надо спать!
Будь человеком твердым, будь поэтом
Не холода, а теплоты, не сна,
А бодрствования; отвори объятия

Навстречу музе – светлая она...
Давно ли ей ты посылал проклятья
За девичий восторг, за чистоту?
Ах, мы меняемся, не знаем сами,
Когда же ангел нам укажет ту
Живую музу с узкими глазами!

И странными становятся тогда
И слышными как будто издавека
Мучительные вдохновенья Блока,
Несущие свой яд через года.

<1935>

Два поезда

Ты уезжаешь завтра. Солнце встанет,
И на вокзале соберется люд.
Ты уезжаешь завтра. Как в тумане,
Гремя, вагоны предо мной пройдут.

Свисток... Проклятый уходящий поезд
Умчит тебя в лазоревую даль.
Широкополой шляпой я прикроюсь –
Скрыть слезы, замаскировать печаль.

Жить – это ждать, ждать терпеливо, молча,
Неделю, месяц, – каждый день, как год...

О сердце жадное, о сердце волчье, –
В нем никогда надежда не умрет,

Что будет *день*, день жизни настоящей,
Рай на земле, осуществленный сон!..
И поезд милый, поезд приходящий
Стальной походкой содрогнет перрон!

1935

«Одно ужасное усилие...»

Одно ужасное усилие,
Взлет тяжело падающих век,
И – вздох, и вырастают крылья,
И вырастает *человек*.

И в шуме ветра городского
И пригородной тишины
Он вновь живет, он верит снова
В те дали, что ему видны, –

Обласканные солнцем дали,
Где птицы без конца свистят,
Где землю не утрамбовали,
Где звезды счастьем блестят...

Но облака идут волнами, –

Как холодно и – что скрывать! –
Как больно хрупкими крылами
Уступы зданий задевать!

1935

Музыка

Сегодня луна затуманена
И светит не ярче свечи.
Полусумасшедший Рахманинов
С соседней веранды звучит.

Нет радости, – да и зачем она?
Люблю ту холодную грусть,
Что девочка с личиком демона
Разыгрывает наизусть...

Аккорды рыдванами тащатся
И глохнут – застряли в пути,
И всё это трелью вертящейся
Вплотную ко мне подлетит,

И всё это облаком музыки
Осядет со мной на скамью,
Как жук, расправляющий усики,
Садится на лампу мою...

А утром я всё, что запишется
Из схваченного на лету,
Отмечу презрительной ижицей
И, бледный, нырну в суету...

1935

Ничего

Пусть судьба меня бьет, – ничего!
В этом нет хвастовства и снобизма.
Это слово, – недаром его,
Говорят, повторял даже Бисмарк...

И сегодня, смертельно устав
От любовного странного бреда,
Повторяю, как некий устав:
«Ничего! Еще будет победа...

Ничего! Мы еще проживем,
Жизнь укусим железною пастью,
Насладимся и женским огнем,
И мужскою спокойною властью».

Так, владея собой до конца,
В простодушно веселой гордыне,
Льется голос большого певца,
Сотрясая сердца и твердыни...

А когда мы споем свою роль,
С честью выступив в этом концерте, –
«Ничего» – притупит нашу боль,
«Ничего» – примирит нас со смертью...

1935

Шанхай. 1937-1946

«Я этого ждал...»

Я этого ждал
за подъемом,
за взлетом –
падение...
Я неразговорчив с тобой
и подчеркнуто сух.
Но – видишь? –
у глаз
западают
глубокие тени –
знак верный,
что ночь я не спал
и что мечется дух.

Ты тоже, что я,
ты плывешь
на обломке бывшего
по мутным волнам
настоящего
серого дня.
Так вот почему

я тебя
понимаю с полслова.
Так вот почему
ты порой
ненавидишь меня.

Я с ужасом жду,
что в любую минуту
при встрече
ты
словом холодным
во мне
заморозишь весну.
Я вздрогну от боли,
но
око за око
отвечу
и ясностью взгляда
и плетью рассудка
хлестну.

Но, снова оттаяв
всем сердцем
к тебе повлекуся...
Ужасна любовь
у холодных
и горьких людей!
У них
поцелуй –

самый нежный –
подобен укусу
и каждое слово
осинового жала
больней...

1937

Встреча

Бездумный, бездомный,
С тоской: побывать бы в Москве, –
Я завтрак свой скромный
Заканчивал как-то в кафе...

Вдруг с улицы кто-то
Согбенно ко мне подошел...
Что мне за охота,
Чтоб нищий торчал над душой!

Я вынул десятку,
Десятку военных времен,
И сунул, как взятку,
В надежде – отвяжется он.

Наивно я думал,
Что он отойдет от души...
Он смотрит угрюмо,

Десятку хватать не спешит.

Вгляделся я ближе,
Скривясь, в маскарад нищеты
И с трепетом вижу:
Знакомые всплыли черты...

Приятель как будто
В былом, а теперь не узнать...
Сережа... Не буду
Фамилию припоминать!

Читаю стихи я,
Бывало, а он говорит:
– «Спасти бы Россию!»
– «Россия!» – я вторю навзрыд.

«Давно ль это было?»
– Лет семь или восемь назад.
Неужто те силы
Иссякли? Неужто – закат?..

И в нищенской маске
Я что-то *свое* узнаю...
«Вот вам и развязка», –
Шепчу я и тихо встаю.

Ни слова, ни звука
Ему мне сказать не нашлось...

А на сердце – скука,
Тягучая скука без слез!

Всё видя, всё зная,
Себе мы не в силах помочь.
Вся жизнь как сплошная -
Одна – бесконечная ночь!

1940

Пианистка

В. Т-ской

Она была вне этого закона...
В Шопена вкладывала мятежи,
Бряцанье шпор и неподдельный *гонор*

Без тени сомненья и лжи.

А нынче в браке состоит бесславном
За торгашом, который в меру гнил
И в меру стар... Ну что она нашла в нем!
Еще смела. Еще в глазах – огни,
Еще в походке – трепет и движенье...

Надлома нет. Но он произойдет!..
Непостижимое соединенье

Высот нагорных с гнилями болот!..

Подходит лимузин: садится рядом.

Давлю во рту проклятие свое...

Что перед этим двойственным парадом

Я, безработный, любящий ее!

Она была вне этого закона

Продаж и купль...

Да, ошибался я...

Что ж, надо постараться жить без стона,

Презрение навеки затая...

1940

В такие дни...

В такие дни – мне быть или не быть? –

Вопрос пустой, вопрос второстепенный.

В такие дни вопрос моей судьбы

Решаться должен просто и мгновенно...

Как много братьев нынче полегло!..

Из них любой, любой – меня ценнее,

Но смертной тьмою их заволокло

За родину, за честность перед нею!

В такие дни, дни стали и свинца,

Мне кажется: – включившись в гул московский,
И Гумилев сражался б до конца
В одной шеренге с Блоком, с Маяковским,

А если б он включился в стан врагов
И им отдал свое литое слово, –
Тогда не надо нам его стихов,
Тогда не надо нам и Гумилева!

Ноябрь 1941

Как писать?

Всем миром правят пушки...
О, как писать бы лучше?
Писал чеканно Пушкин,
Писал прозрачно Тютчев.

Учись у них не очень,
Но простотой не брезгуй...
Пусть будет стих отточен
До штыкового блеска.

Бери слова по росту,
Переливай их в пули.
Пиши предельно просто,
Без всяких загогулин.

А – главное – пусть копит
Душа суровый опыт
Лихой зимы военной
С победой неперенной, –
Чтоб быть всегда живою,
Навеки боевою!

<1941>

Родина

Людям-птахам мнится жизнь змеєю,
Скользкой, без хребта.
Ну, а я? И сам я был – не скрою –
В сонме этих птах.

Впрочем, нынче я уже не птах,
Хоть порой пою
Про бывшее, скомканное страхом,
Про тоску мою.

Подколотная напасть боится,
Хоть она жадна
До такой, как я, мудреной птицы,
Падавшей до дна,

Но потом вздымавшейся в полете,
Что твоя душа,

Словно не сидела на болоте,
Перья вороша,

Словно не шарахалась по-рабы,
Пряча в крылья грудь,
Словно не шептала: «Ах, пора бы
Мне бы отдохнуть!»

Страх змеиный мне не гнет колена,
И живу – живой...
Отчего такая перемена?
Гордость – отчего?

Оттого что и в плену болота,
И в тисках тоски
Родины работы и заботы
Стали мне близки...

1942

Город и годы

Мне город дается:
рю,
руты
и стриты кривые;
я в их лабиринте
одиннадцать лет

проплутал.
Мне годы даются
гремящие,
сороковые,
кровавый сумбур,
что судьбиной
и опытом стал.

Мне сердце дается
живое,
но мир-кровопийца
в тиски
леденящей тоски
мое сердце берет.
Оно не сдается,
оно не умеет не биться,
срывается с петель
и все-таки
рвется вперед...

Я в городе этом,
как в стоге —
помельче иголки,
бродил, ошарашен,
среди зазывал
и менял.
Хозяева жизни —
надменные рыси и волки
сновали победно

и рыскали
мимо меня.

Притонодержателей кланы,
шакальи альянсы...

А я всё тоскую о Наде
любимой,
о ней,
что тоже любила,
но после...
ушла к итальянцу
за лиры,
что были
влиятельней
лиры моей...

От многих ударов
в висках —
преждевременно —
просесть...
Да, не без ушибов
закончилась
жизни глава!
Но мчащимся сердцем
я с теми,
кто свергнет
и сбросит
бессмыслицы гнет,
под которым и я изнывал.

Субтропиков небо
над городом этим
нависло...
Но именно там
полюбилось мне слово:
борьба.
И *мой* это город,
хоть многое в нем
ненавистно,
мои это годы,
моя это боль
и судьба!..

Мне город дается –
в бурнусах
из ткани мешковой
сутулятся кули
под солнцем,
палящим сверх мер.
Мне годы даются –
марксизма
и мужества школа,
заочный зачет мой
на гражданство
СССР..

Шанхай – 1943

Я утро каждое хожу в контору

На Банде...

Что такое этот Банд?

Так Набережная зовется тут...

Над грязной и рябой рекой – дома

Массивные, литые из гранита,

С решетками стальными, словно тюрьмы,

Хранилища всевластных горьких денег,

Определяющих судьбу людскую,

Людей вседневное существование,

Их хлеб, их свет, их душу, их житье,

Их смертное отчаянье порою,

Угодливую рабскую улыбку,

Дрожание холодных мокрых рук...

Когда-то мне казалось, что возможно

Ходить на Банд и душу сохранить,

Ходить на Банд, а по ночам творить

Свой собственный, особый мир из песен,

Из сложных и узорчатых страстей,

Из смутных, неосознанных порой

Порывов и вожделений...

Я был наивен – в этом признаюсь.

Хотя признание это ранит душу,

Верней, лохмотья, что еще трепещут
На месте том, где реяла душа
И где теперь остался лишь бесперый,
Бескрылый мучающийся комок —
Лишь след, лишь тень крылатого когда-то
И гордого когда-то существа...

Я поутру встаю и умываюсь.
Мне леденит вода лицо и руки.
Потом глотаю тепловатый чай,
Чтоб хоть немного внутренне согреться,
Чтобы, садясь в малиновый автобус,
Затягиваясь едкой папиросой,
Немного разобраться в мутных мыслях,
Немного их в порядок привести...

Действительность нахальна и сурова.
Порою кажется, что кровью пахнет,
Что в каждом малом закоулке мира
Таится смерть...
Ну что же! Будем жить!..
Еще костюм не до конца истрепан,
Еще не каждый день терзает голод,
Не каждый день болезни пристают...

Я жить хочу! И ради этой жизни
Готов открыть лицо навстречу смерти
И крикнуть, выдержав ее усмешку:
— Проклятая, тебе мое презрение,

– Тебе плевок
от полумертвеца!..

1943

Разные люди

Горожанин, к Шанхаю привыкший,
В связи, в связи и в доллары верит...
Вот он едет по Банду на рикше,
Вот шагает к вертящейся двери,
Вот летит на стремительном лифте
В «Мистер-Шмидт-экспорт-импорт-контору»...

«Дорогой мистер Шмидт, осчастливьте, –
Полминуты всего разговору, –
Приезжайте к нам запросто, друг мой, –

Мистер Шмидт улыбается кругло, –
Деловитый, осанистый, рыжий, –
Он согласен...

И рад горожанин:
Есть, пожалуй, надежда, что выйдет
Дочка замуж – богатый приманен...
Что с того, что она ненавидит
И осанку, и рыжесть, и говор,
И манеру его чертыхаться, –
Плюсов больше – апартамент и повар

И десятки аспектов богатства...

Да, таков настоящий шанхаец.

Но в Шанхае есть разные люди...

Вон шагает чужак, спотыкаясь,

И, уж верно, мечтает о чуде –

О большом лотерейном билете,

Что судьбой посылается в дар нам,

И невеста уж есть на примете...

Нет, судьба не снисходит к бездарным!..

Почему-то при встрече последней

Усмехнулась Ирина так колко

И не вышла проститься в передней...

Или папенька сбил ее с толку?..

Так подумав, шагает он вяло, –

От всего, что вокруг, отрешенный...

Еле виден сквозь дождь у канала

Бородатый индус в капюшоне,

Что, как странная статуя, замер

На углу Эдуарда Седьмого...

И колеблются перед глазами

И волокна тумана гнилого,

И река с зачумленной водою,

И над городом (коршун – не коршун?)

Черный ангел безумья и зноя,

В муке крылья свои распростерший...

1943

Карусель

Прокуренный, проалкоголенный, –
Сплошной артериосклероз, –
Сидел мужчина безглагольно
И вдруг банально произнес:

«Времена лихие...
Полюбуйтесь: за сандвич счет.
Цены-то! Как в России
При Керенском еще...»

Другой, что с ним сидел, ответил
С видом искушенного воробья:
«Возвращается ветер
На круги своя...»

И первый – вяло, еле-еле,
Проямлил: «Что-то даст апрель?
Н-да. Не на ту мы лошадь сели...
А впрочем, та же карусель...»

И третьего – *меня* – тоска сдавила
Многотонным грузом серых буден,

На которых штамп:

– «*Так было* -

Так будет!..»

<1944>

Камея

Вот я сижу, вцепившись в ручки кресла,

Какие-то заклятья бормочу...

Здесь *женищина* была. Она исчезла.

Нет-нет! Мне эта боль не по плечу.

Она всё дать и всё отнять могла бы,

И – *отняла!*.. Дождь – кап-кап-кап – во тьму.

Прислушиваюсь, улыбаюсь слабо.

За что?.. зачем... так вышло? не пойму...

Мне ни одной вещицы не осталось –

Увы, увы! – на память от нее.

Остались ночью сны, а днем усталость, –

Похмелье, призрачное бытие.

Но я ведь вещность придавать умею

Снам, призракам и капелькам дождя...

И вот стихи – резная вещь, камея –

Дрожат в руке, приятно холодя.

<1944>

Светильник

Ночь, комната, я и светильник...
Какой там светильник! Огарок
Свечи...
Тик-так – повторяет будильник,
Мой спутник рассудочный, старый
В ночи.

Час поздний. Но светоч чадающий
Внезапно разгонит дремоту
Совсем
И душу хватает и тащит
В былое – назад тому что-то
Лет семь,

В тот возраст, когда мы любили
И вечность в любви прозревали...
И вот:
То странною сказкой, то былью
Вся жизнь из могил и развалин
Встает.

Мгновенное заново длится,
Истлевшее светится ярко
До слез...

Забытые вещи и лица, –
Всё снова при свете огарка
Зажглось!

<1944>

Море

В тот год изранила меня
Судьба (все беды навалились!)...
Чужой всему и всё кляня,
В чужом порту я как-то вылез.

Ночь. Бар. Горланят и поют.
Тапер (горбун) бренчит ретиво.
И – так отраву подают –
Китаец подает мне пиво.

Я пью и вдруг впадаю в бред...
Кто тут – глазастой черной кошкой –
Глядит в меня? То пива свет
Или то темень от окошка?..

Кто шепчет мне: «уйди, уйди!»
Ведь я же гость – так не годится...
Нет, я один, совсем один
Сию – нахохлившейся птицей...

Кто душу мне перевернул?
Чей странный голос пить торопит?..
То был ночного моря гул,
Проклятья волн и пены шепот...

И вот уж я в окно кричу,
Я прямо вопрошаю море:
«Что скажешь, море, мне, ручью,
Несущему большое горе?»

...В ту ночь я очень много пил.
К самоубийству близок был...
С тех пор я пережил немало,
Но помню город портовой
И бред и страшный смысл того,
Что море мне в ту ночь шептало:

– «Уйди, уйди!.. Ты тут чужой,
Ты не морской, а земляной,
Беззубый плоский серый ящер...
Твоя тоска – лишь блажь одна.
Ни в чем ты не дойдешь до дна. –
Какой-то ты не настоящий!..»

<1944>

Химера

Сероватые ползут сторонкой
Сыровой ватой облака.
Затянули небо тонкой пленкой.
Тошно. Кажется, что смерть близка.

Что ни шаг – то тысячи препятствий,
Что ни мысль – то тысячи химер.
Чуешь только беды да напасти.
Мир печален и трусливо сер.

Боль и гибель, жертвы и утраты,
Нож и пуля стерегут везде...
Вот опять бунтовщику Марату
Смерть грозит Шарлотою Корде,

Вот опять предсмертную истому
С пулей Пушкину прислал Дантес...
Но довольно солнцу золотому
Усмехнуться, как и страх исчез.

Ненадолго, к счастью, меркнет вера,
Ненадолго гибнут бунт и труд...
Всё равно рассеются химеры,
Всё равно за горизонт уйдут.

Где бы ты ни находился, где бы
Ни встречал от облаков рябой
День, а все-таки улыбка неба
Вечно голубеет над тобой!

Одолеем мы химеры эти,
Страхи и сомненья зачеркнем, –
Взрослые умом, душою дети,
С юностью, с надеждами, с огнем, –
Через всё пройдем, перешагнем!

<1944>

Пустыня

Выжженный –
как пустыня,
Гулкий –
как вблизи водопад,
Каменный –
с головы и до пят –
Город в безразличии стынет...
К вечеру устанешь, как рикша,
С мыслью: «не сойти бы с ума»,
Бродишь, ни к чему не привыкши...
Кажется – пустыня... тюрьма...
Право –
что тебе-то осталось,
Что на твою долю пришлось?..
Только
пустота и усталость,
Только

одинокая злость,
Только
лихорадочность бега,
Суতোлака без конца,
Судорога вместо лица...
Пусто:
ни одного *человека*,
Голо:
ни одного *деревца*!

<1944>

Ангелы

Нужна ли лирика сейчас?..
Нет, нет и нет! Как будто ясно!..
Но, на минуту отлучась
От современности всевластной,
Чтоб тотчас к ней вернуться вновь
Таким же злым, на всё готовым,
Про вас, печаль, про вас, любовь,
Шепну украдкой два слова...
Вот я гляжу по сторонам...
Войдете вы – душа рванется
К той нежности, которой нам
Так мало в жизни достается.
Душа печальна и проста,
В ней нет усмешки, всё кривящей...

Откуда эта простота?
От вас, мой друг, чуть-чуть увядший.
Ко мне вернулись детства сны.
Откуда? Это вы мне снитесь.
И в эти сны заплетены
Луны серебряные нити.
Достаточно поймать ваш взгляд, —
С души как будто сброшен камень.
Как будто ангелы летят
Над перистыми облаками,
Их очень много — целый рой.
Но тут я говорю: довольно!
Я рву с заоблачной игрой,
При слове «ангелы» невольно
Усмешка вновь лицо кривит,
И явь страшна и не согрета...
И не до этой нам любви,
И не до нежности нам этой!

<1944>

Феникс

Курю
и смотрю
из-за дымных облак.
Хочется
чего-то

этого

...

Роняю пепел,
и вдруг
ваш облик
пронесся в дыму,
и – нет его!
Но снова
зоркая
душа согрета
(а только что
мерзла и слеpla)...

Феникс,
кажется,
называется это
странное
восстанье
из пепла!..

<1944>

Сквозь цветное стекло

О музыки неверная стезя!
Верзила, возведенный в менестрели,
Пропел... Аплодисменты озверели.
А в зале яблоку упасть нельзя.

Потом он снова вышел, лебезя.
Заныл рояль, изобразив свирели.
Актер с тапером, расточавшим трели,
Сошлись, как закадычные друзья...

И двойственное вызывают чувство
Тех песен надболотные огни...
Чем он толпе собравшейся сродни?

Гипноз. Цветное стеклышко искусства.
Беспечный трутень среди безумных пчел...
Насытился, отклонялся, ушел.

<1944>

Кошка

Вот мы снова встретились,
Встреча роковая...
В шубе и в берете вы
Ждете у трамвая.

Спрашиваете новости,
Хвалите погоду,
Оживает снова всё,
Как тогда – в те годы...

Как сдержать рычанье мне?

Как держаться смело?..
Полное отчаянье...
Что я буду делать?

Ах, опять мяукаю,
Ах, опять безвластен
Я над этой мукою
И над этой страстью.

Мне любви бы крошечку –
Весь бы страх растаял...
Но ведь вы, как кошечка,
Замкнутая, простая,

Уж в трамвай заходите,
И кондуктор свищет.
И опять – как в годы те -
Я торчу, как нищий...

<1944>

Достоевский

До боли, до смертной тоски
Мне призраки эти близки...

Вот Гоголь. Он вышел на Невский
Проспект, и мелькала шинель,

И нос птицеклювый синел,
А дальше и сам Достоевский

С портрета Перова, точь-в-точь...
Россия – то выюга и ночь,
То светоч, и счастье, и феникс,
И вдруг, это всё замутив,
Назойливый лезет мотив:
Что бедность, что трудно-с, без денег-с...

Не верю я в призраки, – нет!
Но в этот стремительный бред,
Скрепленный всегда словоерсом,
Я верю... Он был и он есть,
Не там, не в России, так здесь,
Я сам этим бредом истерзан...

Ведь это, пропив вицмундир,
Весь мир низвергает, весь мир
Всё тот же, *ego*, Мармеладов
(Мне кажется, я с ним знаком)...
И – пусть это всё далеко
От нынешнего Ленинграда! –

Но здесь до щемящей тоски
Мне призраки эти близки!..

<1944>

Россия

Ярмо тяготело. Рабы бунтовали.
Витала над Пушкиным тень Бенкендорфа...
Россия! *Советской* ты стала б едва ли,
Когда б не пробилась – травую из торфа,

Пожаром из искры... Былое так близко,
Так явственно нам в эти годы нашествий...
Недаром изглодан в чахотке Белинский,
Недаром в Сибири зачах Чернышевский!

Недаром герои твои темнолицы,
С прищуром, с усмешкой – то мудрой, то детской...
Из этой усмешки, из этих традиций
И соткано слово: *советский, советский!*..

Что может быть этого света прекрасней,
Тобою, Россия, зажженного света?
Она не исчезнет, она не угаснет,
Она не померкнет – преемственность эта!

<1944>

Дом

Нравится мне этот дом
с садом, с прудом,
в шесть комнат (из них
четыре больших)...

Светел, уютен,
чист, но не для меня.
Ведь я беспутен –
пьяница, размазня...

Чтобы в этом доме
хоть час пробыть,
мало бродить в истоме, –
надо его *купить*.

А я – бездельник –
вечно хожу без денег...

У этого дома
хозяин – гном,
старик незнакомый...
Вот и шляюсь я под окном
по́ два по́ три
битых часа
и гном с досадою смотрит,
откуда взялся
бездомный бродяга, –
зло смотрит, искоса,
так бы взял и высказал:

«мой, мол, дом и бумага
в исправности купчая, –
дескать, голубчик, –
самое лучшее –
уйди, не торчи под окном...»

И дом,
где бы встречались
я и мои друзья,
за меня опечалюсь,
будто шепчет: «дружок, нельзя...
хотя и хороший знакомый ты
и бездомная птица ты...»

У этого дома комнаты –
все, кроме одной, *пусты!*..

<1944>

Зеркало

Знаю:
в эту ночь
печально,
молча, ты
пристально глядишься
в бездну зеркала.
Где твой смех бывалый,

колокольчатый?..
Всё-то потускнело,
всё померкло!

Сжаты плотно губы –
одиночество.
Вот мелькнет улыбка –
невеселая.
Всё не так,
не так,
не так,
как хочется!
Руки какие-то вялые,
тяжелые...

А ведь было время
предпохмельное.
Были вместе мы
до жизни жадные.
Сквозь разлуку
тридевятьземельную
шлю тебе мой шепот:
ненаглядная!..

Ты не думай:
«он там с кем-то радуется»,
нет, я тоже, тоже
в одиночестве,
ночью та же боль

ко мне подкрадывается:
всё не так,
не так,
не так,
как хочется...

Это я
в себе
тебя
разглядываю.
Не письмо пишу,
костер раскладываю.
Вспыхнет ли костер?
Взовьется ль на небо?
Встретимся ли мы
с тобой
когда-нибудь?

<1944>

Поэт

Я – поэт... Мне тяжело звание это.
Чем я оправдаю хилый труд?..
И клянeshь, клянeshь удел поэта,
И вопросы злые душу жгут.

Так и сдохну? Так без счастья сгину?

Так сгорю на медленном огне?..
Прочь стихи! Сегодня я прикину,
Сколько, сколько это стоит мне.

В день штук сорок папирос едучих,
Не считая всех ночей без сна,
Да небес больных в тяжелых тучах –
Так, что и не скажешь, что – весна.

И за эти дни, за эти ночи,
За надсад груди и взора муть
Все меня бранят: «чего он хочет?
Для чего такой неверный путь?»

Я согласен. Я вполне согласен,
Что нельзя так жить, себя казня...
Мир прекрасен, божий свет прекрасен, –
Всё прекрасно, но не для меня!..

<1944>

«Я денно и ночью молился суровому богу...»

Я денно и ночью молился суровому богу,
Чтоб он мою страсть мне простил или сам погасил ее.
Я долго не знал, на какую мне выйти дорогу...

Томление. Бессилие...

Но как-то я понял, что каждый усталый и слабый
(И я в том числе) обращается к богу и ластится
И молит умильно: «О господи, дай мне хотя бы
Полпорции счастья!..»

Да, так – что скрывать? – я молился надменному богу,
Когда его имя писал еще с буквой заглавную...
И только годам к тридцати вышел я на дорогу –
Широкую, славную –

Не к счастью, а к знанию, вперед устремляя со страстью
Глаза ненасытной души, неизменно бессонные...
Я думаю, это и есть настоящее счастье
И радость весомая!..

1945

«Человек умрет. Его забудут...»

Человек умрет. Его забудут
Даже те, кто были с ним на «ты»,
Даже если в год два раза будут
На могилку класть цветы...

Но иной умерший, добрый, сильный,
Что внушал нам, злым и слабым, стыд,

Одолеет холод замогильный,
Непременно отомстит!

Отомстит нам жизнью в жвачке и в зевоте.
В суете и в сутолоке дня
Он нам скажет:
«Так-то вы живете!
Так-то помните меня!..»

Мы вдруг ощутим не без боязни
Тихий, странный замогильный свет.
И для нас не будет хуже казни –
Хуже этой казни нет! –

Чем упрек от скрытого в могиле,
Чем укор суровый от лица
Ставшего легендой и былью –
Более, чем мы, живого мертвеца...

1945

В первые дни после 9 мая 1945 года

Она и он за столиком сидят
И видят исключительно друг друга.
Неподалеку – янки, пять солдат
Вокруг большой бутылки, полукругом.
Пьют и смакуют скверный каламбур.

Дрожит окно, трамвай несется тряский.
Жарища и отчаянный сумбур,
Водоворот людской и свистопляска.

Она и он не слышат ничего.
Им в то же время слышно всё на свете,
Что надо. Сдержанное торжество
На испитых и бледных лицах этих...

У ней родных угнали в Освенцим,
А он едва не угодил в Майданек.
Один. Одна...
Прислушиваюсь к ним.
Она (чуть шелестя губами): «Янек...
О, если бы ты знал!» А он, склонив
Лицо, с улыбкой тонкой пониманья,
Ей говорит: «Ты на меня взгляни
И улыбнись, и всё забудем, Анни...»

Слова просты и вроде бы пусты.
Но в каждом слове, даже в каждом слоге
Душа к душе – наведены мосты,
Душа к душе – проложены дороги.

И это пир, любви раздольный пир
В кафе дешёвом, в грохоте трамвая...
Им кажется, что в них одних – весь мир...

А мир о них и не подозревает!

1946

Расстались!..

Я в юности клялся, что выделюсь,
Что в люди я выскочу – клялся...
И вот в Новый год мы увиделись
(Лет восемь я с ней не видался).

Вся в блестках и кольцах она, ну, а я еще
Всё в том же потертом шевиоте...
Сказала с улыбкой сияющей:
– Вот встреча!.. Ну как вы живете?..

Что я ей отвечу? И так она
Всё видит: и складки заботы
У рта, и портфельчик истасканный...
Всё видит и прячет зевоту.

Беседа шла самая светская:
Дней юности мы не касались.
Потом ее рученька детская
Скользнула мне в руку – расстались.

Расстались.
Чужие!..
Сегодня я

Всю ночь, видно, буду не спать,
Шептать:
«Это ад, преисподняя...»
Себя и ее проклинять,
Зализывать раны опять...

А дни-то стоят – новогодние!

1946

Свердловск. 1950-1974

Журналист (Памяти Николая Петереца)

Опять листаю годы за границей –
Как опускаюсь в черную дыру...
Но были ведь и светлые страницы?
Да, да... И в памяти возникнут вдруг:
Пропахшая лекарствами больница,
Под белой простыней угасший друг.

Той простыни он никогда не сбросит:
Он стал землей китайской и травой.
Но, знаю, он с меня и мертвый спросит:
«Чем дышишь ты, как ты живешь, живой?»

Лишь в дни, когда я мелок, пуст и низмен,
Мой друг во мне убийственно молчит...
Впервые – думаю – о ленинизме
Я от него понятые получил.

«Советскую мы делали газету...»

Советскую мы делали газету
В Шанхае. Он порой до трех утра
Над гранками клонился душным летом.
Изматывали мокрая жара,
Туберкулез и прочие болезни.
Потом он слег, почти лишился сна
И, помню, бредил:
«Сделать смерть полезней...
Да, да... Пусть повоюет и она...»
О, это рвенье честное, святое!
Стояли мы, газетчики, над ним,
Я, помню, думал, что гроша не стою,
Здоровый, перед таким больным.
Когда в его лице усмешки лучик
Маячил, боль и бледность оттеня,
Жгла чуть не зависть: до чего ж он лучше,
Умней, сильней, во всем первой меня!..
А он, бессонный, бредит про дороги,
Которыми пойдет весь род людской.
Победы скорой предрекает сроки
И рубит воздух худенькой рукой, –

Травинка малая...
Как льдинка, твердый,
Как искорка, готов разжечь костер...

«Шел год грохочущий, сорок четвертый...»

Шел год грохочущий, сорок четвертый...
Воды и крови утекло с тех пор
Немало.

Я в стране труда и мира.
Но не забыть мне тех далеких дней,
Когда тоска по родине томила
И с каждым днем мне было всё больней,
Что я живу – проклятье! – вне России,
Что, видно, надо с корнем вырывать
Зеленый куст в пустыне ностальгии –
Мою мечту: в Москве бы побывать, –
Мечту, что с детства окрыляла душу,
Потом несбыточной стала вдруг...

Я знаю: я зачах бы от удущья
В Шанхае, если бы не этот друг,
Который научил меня работать
Для родины и зло меня корил
За глупую лишь о себе заботу,
Который, помнится, *так* говорил:
«Нам чудо-родину судьба дала...
Любить ее, не зная ее тепла, –

В такой любви серьезность есть и сила...
Страдание ее не угасило,
Сомнение ее не умертвило,
Изгнание накалило добела!..»

«Пропавшая лекарствами больница...»

Пропавшая лекарствами больница,
Тот день – *одиннадцатое декабря*,
Та ночь, та сизо-мутная заря
Мне кажутся порою небылицей...
Но нет: всё это было, и – не зря!

...В то утро (буду протокольно краток)
Сошлись в палате мы, его друзья,
Молчим и прячем от него глаза.
Он был в сознании, он нам сказал
Чуть иронически:
«Не надо прятать,
Да и от правды спрятаться нельзя...
Живем на политической помойке,
Под оккупантами, чуть не в плену.
Но я, и лежа вот на этой койке,
Настроен на московскую волну.
Наш путь на родину, хотя и тяжек, –
Он всё же в гору путь, а не с горы...
“Игра не стоит свеч”, – нам скептик скажет, –

Врет: стоит, если нет другой игры!..
Известно: танк пером не протаранишь,
И лист газетный, ясно, не броня,
Но, душу Лениным воспламеня,
Мы родине теперь нужней, чем раньше...
Вот так-то... жить нам дальше... без меня...»
«Жить!» – рубанул рукой он, сам весь выжжен
Бессонницей, прикончившей его;
Вздыхнул рывком и лег, навек недвижим;
Глаза как лед, лицо как мел – мертво...

«И если я что смыслю в ленинизме...»

И если я *что* смыслю в ленинизме,
Я этот смысл в те дни войны извлек
Из этой щедрой – жаль, недолгой – жизни.
Мне эта смерть – опора и урок!

1950-1974

Герцен

Опять эта книга меня растревожила...
Опять, усмехаясь и слезы роняя,
Читаю всю ночь... И прошедшее ожило,
Как будто в него погружаюсь до дна я.

День видится серый, промозглый, холодненький,
То сеет дождем, то поземкой пылится.
Несутся кибитки, плетутся колодники –
Клейменные лбы, изнуренные лица.

Жандарм и чиновник искусно расставлены –
Монарховы уши, монарховы очи.
Россия нема, зашнурована, сдавлена,
И души и спины иссечены в клочья.

Молчалин глумится над разумом, прянувшим
К свободе из мрака имперского трюма...
Об этом ушедшем, но всё еще ранящем
Опять повествуют «Былое и думы».

Былое... Мороз пробирается в сердце нам,
И бьется оно в ледяной водоверти,
И бьется в нем горькая родина, Герценом
Отвергнутая и родная до смерти.

В уме же, навек околдованном истиной, –
Глухая борьба: превратиться в холопа,
В чиновника? Нет! Остается единственно
На многие годы уехать в Европу.

Но что же Европа?... Лабазник и лавочник,
Как глянешь вблизи, и фальшив и беспутен...
И тысячи мелких уколов булавочных

Не меньше смертельны, чем штык и шпицрутен...

И вдруг, как победа над болью непрошеной,
В Россию, туда, где не видно ни зги было,
Луч разума – слово великое брошено,
И, стало быть, дело еще не погибло...

Колотится слово, как колокол, – вольное,
Из трюма зовущее к солнцу, на воздух,
К свободе, и зовы его колокольные
Найдут в поколениях свой отклик и отзвук.

Читая, вникаю в несчастья и радости,
И ветер истории в комнате веет.
А родины небо, а небо уральское,
А небо Свердловска в окне розовеет.

1952

«Разбросана, раздроблена жизнью...»

Разбросана, раздроблена жизнью
Былая моя чистота.
Но в старости вдруг свежестью брызнет,
И, кажется, не так уж устал,

И жаждой что-то делать, и вызовом
Посверкивают злые глаза,

И снова тянет строки нанизывать
И жить, не озираясь назад.

И вглядываться в зори небесные,
И жизнь перейти не медлительно,
А (Рерих): «Как по струне бездну –
Бережно и стремительно!..»

1954

Ипохондрическое

Страшный натюрморт,
Пахнувший тюрьмой.
Снятся злые сны:
Нету мне весны,
Добрые глаза
Зло по мне скользят...
Милые глаза,
Годы взять нельзя
Назад!..
Всё в себе губя,
Все-таки любя,
Призрачно живу,
Как не наяву.
Есть жена и дом,
Добытый трудом.
Только мне страшна

1954

«Настольной лампы матовая стылость...»

Настольной лампы матовая стылость,
Пригоршни дождика стучат в окно...
Неделя – как со мною ты простилась,
А кажется давно, давно, давно.

Ото всего спасенье есть – работа.
Я от тебя хочу спастись, мой друг,
Работой, невзирая на дремоту,
Работой, невзирая на недуг.

Работой, в лихорадке, в наступленье
На всё, что точит и мельчит меня,
Что ставит перед жизнью на колени,
Гася остатки страсти и огня...

1954

Всё заново!..

Цвет заката какой-то нахальный,
Маслянистый, пятнистый, рябой...
Принимает меня привокзальный,
Оглушающий сразу прибой.

На полу чемоданы расставив,
На один я устало присел...
Сколько разом нарушено правил,
Сколько разом оборвано дел!

Сколько раз разрубаю я путы,
Сколько – жгу за собой корабли!..
Снова жизнь начинаю, как будто
По былому командую: пли.

Хоть не враз уничтожишь былое,
Расстреляешь его хоть не враз,
Всё равно оно станет золою,
Как горящего дома каркас.

Так, да здравствует – пусть невеселых,
Пусть тревожащих дум новизна!..
Так, в апреле на веточках голых
Пробивается зелень-весна...

Снова в путь!.. Я еще ведь не старец.
И хотя пожилой человек,
На покой и застой не позарюсь
И рутине не сдамся вовек.

Ну, так в путь, неизведанный, дальний,
В новый, может, рискованный бой!
Принимай же меня, привокзальный,
Милый
людской прибой!..

1955

Эренбург

Пером своим ямы он вырыл
Для лживых холодных людей.
И нынче ушел он из мира, –
Большой и родной иудей.

Правдив до последнего вздоха,
Готовый на спор и на бунт...
И молод он был, как эпоха,
До самых последних секунд.

Проходят поветрия, моды,
И даль обращается в близь.
А Эренбург резок и молод,
Как люди, как годы, как жизнь!..

1969

«Вот опять капли пота...»

...Вот опять капли пота
Я стираю со лба...
Для кого ж я работал,
Люди, злая толпа?

До чего же вас много,
Тех, кто травит меня
И словцом: «недотрога»,
И словцом: «размазня»,

И словцом: «неудачник»...
Так живу, заклею
И спроважен на тачке
На помойку времен.

Постаревший, угрюмый, –
Тих, сутул, как сова, –
Годы, годы я думал
За себя и за вас...

И рожденные мысли,
И прозрения дрожь
Над бровями нависли...
Чем я вам не хорош?

Может, тем, что уставший
И кажусь стариком,
Часто пьяный и сдавший...
Я и вправду таков...

Что ж, пускай нелегко мне
И ни с кем, и нигде, —
Может, кто-нибудь вспомнит
Из грядущих людей...

Через годы и муки,
Через воды-огни,
Лю-уди, к вам свои руки
Я тяну: вот они!

Чтобы стихли вы сразу
И промолвили:
«Ша!

Вот он — руки и разум,
И душа,
и душа!»

1971

«Как тебя я увидел во сне...»

Как тебя я увидел во сне

На мгновенье живую, бывую,
Затеплилося сердце во мне,
И казалось: тебя я целую.

Ты была нестерпимо близка,
Так, что сердце срывалось с причала...
А потом ты ушла, и тоска
Снова день мой и сон омрачала...

Я проснулся. Опять – как в аду –
Склоки, сплетни, интриги и шашни.
И бреду я у всех на виду,
Невеселый, как сон мой вчерашний.

1973

У своего же огня

В юности, – застенчивый, дикий, –
Гением себя возомня,
Чтением себя пламеня, –
Помню, зарывался я в книги –
Грелся у чужого огня.

После, став немного постарше,
Сам решил я книги писать...
Годы всё писал, но, уставши,
Сдался, перестал и дерзать.

Но черновики и наброски
Всё я для чего-то храню.
Слипшейся бумаги полоски
Жалко предавать мне огню.

Это же осколки мира,
Жившего с рожденья со мной...
Седенького папы-кассира
Видится мне облик родной.

Первая любовь моя Муся
Видится, – серьезна, светла...
Помнится, за что ни возьмусь я,
Вкладываю душу дотла...

Вдруг из давней давности вести
Старенький сулит мне блокнот:
Память о погибшей невесте
В буквах полустертых встает, –

Ира. Умерла от угара...
Вспомнили блокнота листки
Глаз ее зеленые чары,
Золота волос завитки...

Годы то влачили, то мчались,
Били по моему кораблю...
Но я о себе не печалюсь,

И не о себе я скорблю, —

Жалко мне людей, что так бледно,
Робко проживут и уйдут...
Всё же они шли не бесследно,
Всё же они чуточку тут!

Вытянусь пред ними в салюте, —
Весь я, кровавой и земной...
Пусть, пока живу, эти люди
Будут нерасстанно со мной.

Давнее пусть кажется близким,
Жгучим и живым для меня!..
Старые
перебираю
записки —
греюсь
у своего же
огня...

1974

«...»

Равняясь по самым высоким вершинам,
Тщедушен и мал, —
Давно нелюбимым Поэзии сыном
Под старость я стал.

Она предо мною захлопнула двери:

«Куда уж тебе, комару!...»

Но я остаюсь ей, Поэзии, верен

И с этим умру!..

1974

Недатированное

Заговор

Объединяются весна с луной
И на меня напасть приготавлиются,
Шушукаются, рыщут надо мной,
Шушукаются, рыщут, ухищряются.

Угроза новой затяжной любви...
Ах, не попасть бы из огня да в полымя.
Борюсь с собой, держу глаза, как Вий,
Прикрытыми ресницами тяжелыми.

Стихи читаю вслух и про себя,
Ритм создаю холодный, острый,
бритвенный,
И рифмы обличительно скрипят...
Я – как монах, настроенный молитвенно.

Напрасный труд... Весна с луной
сильней
Моих словес холодной окрыленности, –
Стихи становятся острее, больней,
Но даже им не одолеть влюбленности.

Осеннее

Сутки сплошь, то густой, то пореже
Сыплет дождик. Я болен: знобит.
И глаза мне особенно режет
Мир мой малый, убогий мой быт.

В окнах плещутся струи косые.
А за окнами, сизо-мутна,
И по-древнему как-то Россия
Приуныла, как будто больна.

Мысли вялы, робки, словно вата.
Давит на сердце каждый пустяк.
Ничего-то на свете не свято.
Как у мало знакомых в гостях,
Тесновато...

Хулиган бы, по умственной лени,
Грянул матом бы, как обухом.
У меня ж, у поэта, стремленье
Грянуть злым и тяжелым стихом.

Как мне выйти из жизни рутинной?
Запутался я в ней, как в лесу...
Как давно я свой подвиг старинный,

Тайный труд свой над словом несу.

Невеселое, нудное бремя,
Как намокшее в осень пальто,
Никаких не сулящее премий...
Всё не то, всё не то, всё не то!..

Всё вопросом преследует черствым:
Не напрасно ль живу, устаю?..
Нет, я верю в победу упорства,
В стойкость верю. На этом стою!..

Дождик зелень дерев ополощет.
Выйдет солнце, приветно лучась.
И покажется шире жилплощадь.
И вся жизнь – и просторней, и проще,
И гораздо светлей, чем сейчас.

«Стрясется же такое с человеком...»

Стрясется же *такое* с человеком:
Затор, тупик, отсутствие огня,
Стремление идти не вровень с веком, –
Плестись за ним!.. Так было у меня...

Явилась ты, глазастая, простая
(Глаза – то зарево, то водоем!),

И музыка, что за сердце хватает,
Мне прозвучала в голосе твоём.

Хотел я сердце охладить, но где там
Уйти от этой страстной простоты,
Такой *советской*! – да! – по всем приметам?..
Скажи, что делать мне на свете этом,
Чтоб никогда не горевала ты?

...А я ведь было до того дошел,
Что выбился из творческого строю.
Явилась ты, – я, окрылен душой,
Учусь, учу, работаю и строю.

А я ведь было, выжив из ума,
Всё ждал зимы, буранов и заносов.
Явилась ты: весна, а не зима,
И голос гроз и запах трав донесся.

Растаял на сердце последний снег.
Всё лучшее, что временно уснуло:
Деревьев зелень, музыку и смех,
Синь неба, – это всё мне ты вернула.

И кажется: я не живу, а мчусь
Среди цветов и ласковых улыбок...

Тебе, тебе за радость этих чувств
Всей кровью отогретое «спасибо!».

Вернуть мне музыку, вернуть любовь
К стремительной и трудной жизни, к людям, —
Да я за это на любую боль
Пойду, крича:
люблю,
люблю,
люблю тебя!

Другу В.С.

Мой друг, с тобой мы навсегда
близки друг другу и родимы,
товарищи и побратимы...
А ведь приблизились года
утрат, уже необратимых...

Как обоюдоострый нож,
в мозги вонзилась мысль и жжется,
что прожитого не вернешь
и что всё меньше остается

на нашу долю и годов,
и городов, и рюмок водки...
Да, к этому я не готов,

еще веселый, пьющий, верткий,

и странно, голосом глухим,
я всё ж скажу, как из колодца:
«Дела у нас не так плохи,
и всё вернем, и всё вернется!»

Талант? Не знаю, есть ли, нет ли...
Но ежели таланта нет,
уже я не полезу в петлю,
как мог по молодости лет,

когда казалось: или – или,
или известность и успех,
или костям лежать в могиле...
Теперь живу я жизнью тех,

кто бесталанен и безвестен,
кто трудится день ото дня
и кто обходится без песен...
Теперь они – моя родня.

Так что ж! Не вечно быть мальчишкой.
Я жил, работал и любил,
и мне досталась песня: «Чижик,
чижик-пыжик, где ты был?!»

Стансы к Августе

1

Всё померкло. Стремленья остыли,
И призванья звезда не блеснит...
Люди мне ничего не простили, –
Твое щедрое сердце – простит

Мое горе тебе не чужое:
Ты его разделила со мной...
Для меня с моей горькой душою
Ты – как образ любви неземной.

2

И когда мне смеется природа
Тихим смехом своей красоты,
Верю я, что сквозь горы и воды
Это ты улыбнулась мне, ты.

А когда разбушует море,
И друзья предают так легко,
Я бесчувствен... Одно только горе –
То, что за морем ты – далеко.

3

Всё разбито. Надежды уплыли,
И вся жизнь – как утеса куски...

Но не стану холопом бессилья,
Но не стану рабом тоски.

Пусть враги мою гибель приблизят,
Пусть все беды меня сокрушат,
Но меня не согнут, не унижат...
Я с тобой – без тебя ни на шаг!..

4

Не солжешь ты, как многие люди,
Не предашь, хоть и женщина – ты,
Не оставишь меня, не забудешь,
Испугавшись людской клеветы.

Не напрасно в тебя я поверил:
Не сбежишь ты, разлукой дразня,
Ни врагу не откроешь ты двери,
Не смолчишь, когда травят меня...

5

Впрочем, я даже не презираю
И травящих толпу не кляню, –
Сам свое безрассудство я знаю,
Сам свою понимаю вину.

Сам не знал я, как дорого эта
Обойдется вина. Но душа
Всё тобою одною согрета,
Без тебя – никуда, ни на шаг!..

И плыву на обломке бывшего.
Всё пропало. И только твое
Имя, с детства мне милое, снова,
Я шепчу, и мы снова вдвоем.

И в песках возникает водица,
И в пустыне растет деревцо,
И щебечет заморская птица,
И прохладой мне плещет в лицо...

(По Байрону. Перевел Николай Щеголев)

Стихотворение в прозе

Полдень

В этот час, в столовой сидела квартирантка, Роза Борисовна, розовощекая пухлая полуполька, стремительно вспыхивавшая от взглядов мужчин, причем кровь нескоро отличала от лица, и, облокотясь о покоробившийся стол, пренебрежительно, с закрытым ртом напевала романс, один из тех романсов, которыми создают слезливое, обманчиво творческое настроение публике откормленные, «упитанные – как сказал бы Маяковский – баритоны», притворяющиеся Вертинскими, и, хотя обличье не так легко подделать под испитого Вертинского, они все-таки тщатся, стягивают выдающиеся животы, обводят вокруг глаз синие круги и поют с возможной тоской.

В этот час лирик Полозов находился за письменным столом, в комнате рядом со столовой и выстукивал на машинке очередную песню. Пение блондинки – поверьте! – содействовало ему в творчестве, хотя ни тени проникновенности не было в нем.

В этот час холмы железных крыш высматривали золотыми от солнца, и беллетрист, миновавший дом, где гнусила блондинка, прислушался к пению, шедшему сквозь раскрытую

фортку, и сказал себе мрачно: «За что я, несчастный, должен всё подхватывать зорким своим взором, слышать чутким ухом

всё, что выбрасывает мир? Мне и этот зной раскаленных крыш, и этот гнусный голос, и стрекотание пишмашинистки!..» Он не знал, что это пела эффектнейшая, пышная полуполька, вдохновительница, греза поэта, что стрекотал на машинке проникновеннейший лирик эпохи, который от многочисленных припадков вдохновения нередко побаивался признаков ранней старости, подходил к зеркалу, разглядывал со скорбью медленно, но верно прокладывающиеся морщинки на лбу и у глаз и вновь шел к машинке стрекотать, отдаваясь тревожному вдохновению. Только 20 лет было ему, и он писал:

Или это старость перед смертью,

Перед смертью в двадцать лет?

Блондинка внимала стрекотанию, вздыхала – зачем он избегает ее? – и ненавидела неритмичный треск клавиш.

Отсюда – и ее заунывное пение об уходящих годах, отсюда – и пронзительное вдохновение лирика, и – кто знает? – не отсюда ли крыши так золоты, так знойно, такое синее небо и такая тоска о существовании мира, что хочется броситься в реку, зарыться головой в желтые волны и при этом не уметь плавать.

Проза

Рассказы

Телеграмма

В антрактах они часто спорили об... эмоциях.

Виолончелист Рудольф, плотный молодой блондин с начинающейся лысиной, всегда отстаивал их существование.

Скрипач, – крепкий, с желтоватым лицом брюнет, – всегда противоречил ему. Фамилию он носил причудливую – Роксанов; имя и отчество – обыкновенные, – Павел Николаевич.

– Что такое эмоции в наш век, когда властвует машина, если даже признать их существование? – разглагольствовал он. – Где сострадание? Где любовь? – не вижу. Не знаю, как вы, господа, – а я с каждым днем всё более убеждаюсь, что человек – лишь мыслящая машина. На мой взгляд, думать иначе, значит – притворяться.

Музыканты по-разному реагировали на такие тирады. ПИАНИСТ недоверчиво молчал, барабанщик ухмылялся туповатой улыбкой, и только Рудольф вскипал.

– Как вы можете жить с такими убеждениями, Павел Николаевич?! – спрашивал он, тщетно стараясь сдерживаться. –

На вашем месте я бы давно намылил веревку.

– Удивительный вы человек!.. – неизменно отвечал Павел Николаевич и спокойно канифололил смычок.

Он давно служил в кинематографе «Ориенталь». Прямой, как метр, вечно спокойный, – ловко перебирая пальцами левой руки, он извлекал из своей скрипки безукоризненно чистый звук, но без намека на какое-либо чувство. Никто из сотоварищей-музыкантов не видел его другим.

Таким он был и сегодня, но...

Ему выпало играть соло чрезвычайно грустную мелодию. На экране – за столом, в полумраке каморки, сидит человек. Локти лежат на столе. Лицо утонуло в ладонях. Пальцы судорожно перебирают кожу лба. На миг человек проводит ладонями по волосам, открывая темное лицо затравленного зверя. В уголках глаз – затаенная надежда. Потом – приступ отчаяния, и лицо застилает сероватый туман.

Всё это, сопровождаемое томительной мелодией скрипки, захватывало даже самых нечутких зрителей.

Рудольф, в изумлении, похожем на ужас, косился на Павла Николаевича, – с ним, в самом деле, творилось нечто необычайное: во-первых, играл он проникновенно; во-вторых, изменил своей машинной позе, – наклонившись вперед, он точно приобщал к звукам всё свое существо; в-третьих, лицо его так полно передавало переживания гнетущего одиночества, что можно было бы и не смотреть на экран.

Рудольф почти в трансе наблюдал Роксанова. Несколько

оправившись, он подтолкнул барабанщика, тупо созерцавшего свои барабаны. Тот вытаращил глаза.

Но на экране уже красовался кабачок нынешнего Парижа, и они едва не прозевали вступления в фокстрот.

При первом режущем аккорде Павел Николаевич выпрямился, как ни в чем не бывало. Поза его как будто говорила: «Не знаю, как вы, господа, а я – лишь машина». Облик, так поразивший Рудольфа, бесследно исчез.

После окончания сеанса, когда укладывали инструменты, Рудольф ехидно ткнул пальцем в одно место в нотной тетрадке скрипача.

– А почему здесь раскисли, Павел Николаевич? – Голос Рудольфа дрожал от торжества.

Но на лице Павла Николаевича отпечаталось такое неподдельное непонимание, что Рудольф разом был выбит из колеи.

– Раскисли, – я говорю! – В его голосе уже звучала желчь.

– Уж не хотите ли вы сказать, что я что-то переживал, играя соло? Не думаю... Ха-ха... Ерунда...

Рудольф в бешенстве повернулся, чуть не застряв в дверях с виолончелью. Оставшиеся молчаливо протянули друг другу руки и разошлись.

Роксанов размеренным шагом дошел до ближайшей трамвайной остановки и сел в трамвай, который тотчас же тронулся.

Трамвай был полон, хотя перевалило за полночь. Лица,

залитые электрическим светом, казались утомленными. Павел Николаевич равнодушно их озирали. О чем он думал?

«А она симпатична!» – мелькнуло в его голове, когда он скользнул взглядом по молодой женщине, сидевшей перед ним.

И мимолетная тревога охватила его:

«Полно! Машина ли я?»

Но он сразу отогнал эту «нелепицу» троекратным: ерунда!

Выйдя последним из трамвая, он направился к отелю «Анабиоз», где второй год снимал квартиру в третьем этаже.

«Так будут ходить люди будущего», – думал он, тщательно соразмеряя дыхание с количеством шагов. Людей будущего он представлял машинами «без души, без любви, без лица».

Войдя в отель, он окунулся в полумрак и тишину. Но только на миг: с площадки второго этажа до него вдруг донеслись странные голоса, точно спорили мужчина и женщина.

Павел Николаевич стал поднимать по лестнице, пока не достиг того места, откуда шли голоса.

На фоне коричневой двери вырисовывалась женщина. Павел Николаевич сразу узнал ее: это была та, которую он только что в трамвае нашел симпатичной.

Женщина взволнованно приблизилась к нему.

– Прошу вас, взгляните: что с этим человеком? Он хотел передать мне какую-то записку, едва я пришла сюда. А потом – зажал ее в руке и... смотрите...

Павел Николаевич уже смотрел.

Человек в фуражке телеграфиста повис на правой подмышке на барьере лестницы. Ноги лежали на пыльном полу. Он остановил на Роксанове своей остеклевший взор. Так – с минуту. Затем, с усилием поднявшись, человек, шатаясь, шагнул к Павлу Николаевичу. Глаза стали чуть осмысленней.

– Господин. Телеграмма. – просипел он, внезапно сунув Павлу Николаевичу в руку смятый клочок. И, безнадежно махнув левой рукой, телеграфист побежал вниз: вернее, скатился по перилам на той же правой подмышке. Задребезжала входная дверь.

После минуты колебания Павел Николаевич развернул хрустящий листок, действительно, оказавшийся телеграммой. Она гласила:

«Крушение. Погиб Александр Васильевич Верлинский».

В недоумении Павел Николаевич протянул было телеграмму женщине, глядевшей на него выжидательно, и вдруг... отдернул руку назад, точно дотронулся до самовара.

– Что с вами?

Он ответил ей что-то успокоительное, хотя в глазах еще стояли слова на визитной карточке, приклепленной к двери: «Маргарита Александровна Верлинская».

И Павел Николаевич ясно почувствовал, что не в силах отдать ей телеграмму.

– Телеграмма касается лично меня, – сказал он, собравшись с духом. – Пьяный телеграфист, очевидно, перепутал

адреса. Безобразие!.. Следовало бы заявить об этом, куда следует.

И, вежливо поклонившись на ее «благодарю вас», Роксанов поднялся к себе.

Наступившая ночь показалась ему ужасной. В передней он остановился у зеркала, готовясь к. самобичеванию.

– Ты ли это? – шептал он, вглядываясь в свое осунувшееся лицо. – Унижение и позор!.. Понятен телеграфист с его пьяным состраданием: трезвым – он легко исполнил бы свой долг. Но ты-то, надеюсь, – трезв! Только сегодня ты совершенно искренно спорил, доказывая отсутствие сострадания; и вот – оно объявилось, вопреки разуму. Ха!.. Не хватает еще любви.

В таком духе разговаривал с собою Павел Николаевич до рассвета. Под утро ему удалось забыться, после того как, крадучись, он сбегал на площадку второго этажа и несколько раз обалдело перечел визитную карточку...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.